

---

# ПУШКИНСКОЕ ОБЩЕСТВО

---

Серия: „Последние годы  
творчества Пушкина“  
— 1833—1837 —

Вып. II.

---

Л Е Н И Н Г Р А Д  
1 9 3 4

ПУШКИН

1 8 3 4 Г О Д

ПУШКИНСКОЕ ОБЩЕСТВО

1

9

3

4



Напечатано по постановлению правления Пушкинского Общества.

Председатель правления

академик *Н. С. Державин*

Отв. редактор *И. И. Оксенов*.

Техред *Н. Малков*.

Книга сдана в набор 26/IV 1934 г.

Подписана к печати 29/VIII 1934 г.

Ленгорлит № 22813.

Тираж 5000.

Заказ № 1819.

Бумага 72×110 см, 1/32 л.\* Авт. листов 9,09. Бум. л. 2<sup>11</sup>/16.

2-я типография „Печатный двор“ треста „Полиграфкнига“. Ленинград, Гатчинская, 26.

*lib.pushkinskijdom.ru*



## ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем — втором — выпуске серии «Последние годы творчества Пушкина» несколько изменена первоначальная установка издания, а именно — некоторые статьи сборника имеют отчасти исследовательский характер. Это обстоятельство вызвано тем, что отдельные вопросы, связанные с материалом сборника, в процессе работы над ними потребовали пересмотра установившихся взглядов и нового освещения. Однако, общий тип изложения мы стремились оставить по прежнему научно-популярным и доступным для читателя без специальной подготовки.

Как и в предыдущем нашем сборнике, мы берем дату «1834 год» лишь в качестве повода для привлечения внимания к тому или иному, пушкинскому произведению. Далеко не всё из написанного Пушкиным за 1834 год нашло себе отражение в тематике сборника, а некоторые темы нам удалось затронуть лишь частично.

Кроме оригинальных статей и других материалов мы даем в настоящем сборнике хронику пушкиноведения за 1933 год. Подобная сводка за последние годы никем не производилась, а между тем именно теперь, в связи с приближением столетия со дня смерти поэта, читательские массы и литературные круги особенно заинтересованы в обзорах всего того, что делается в области изучения Пушкина и издания его сочинений. Наша первая попытка подобной хроники не претендует, впрочем, на исчерпывающую полноту обзора.

*Пушкинское Общество*

Ленинград.

*Н. Лернер*

## ПЕСЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ В «ИСТОРИИ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА»

Пушкин, прежде чем приступить к изучению Пугачевщины, уже давно, не случайно, а, насколько это возможно было в его житейской обстановке, систематически изучал и собирал русские народные песни. Записывал он их в свое время в Михайловском, потом в Болдине, а впоследствии, собираясь на восток России, в те места, где когда-то развертывались грозные события восстания, рассчитывал найти там новую поэзию — собрать песни, в которых отразилось величайшее революционное движение, пережитое народом в минувшем веке. Но поэзия оказалась не велика. 17 января 1834 г. П. В. Киреевский писал Н. М. Языкову: «уральских песен, обещанных перед отъездом туда, он кажется, ни одной не привез, по крайней мере мне не присылал»<sup>1</sup>. Добыча была действительно скудной, да и не могла быть обильной. На местах Пушкин был очень недолго и не имел времени ни для того, чтобы найти людей, знавших старинные песни, ни в особенности для того, чтобы расположить к себе этих людей и завоевать их доверие. В Бердах, под Оренбургом, рассказывает В. И. Даль<sup>2</sup>, удалось разыскать «старуху, которая знала, видела и помнила Пугачева. Пушкин разговаривал с нею целое утро; ему указали, где стояла

---

<sup>1</sup> «Исторический Вестник» 1883/, дек. стр. 538—539.

<sup>2</sup> «Воспоминания о Пушкине», напечатанные в сборнике Л. Н. Майкова «Пушкин», СПб, 1899, стр. 417—418.

изба, обращенная в золотой дворец... указали на гребни, где, по преданию, лежит огромный клад Пугачева, защи-тый в рубаху, засыпанный землей и покрытый трупом человеческим, чтобы отвести всякое подозрение и обма-нуть кладоискателей, которые, дорывшись до трупа, дол-жны подумать, что это простая могила. Старуха спела также несколько песен, относившихся к тому же пред-мету, и Пушкин дал ей на прощанье червонец... Черво-нец наделал большую суматоху. Бабы и старики не могли понять, на что было чужому приезжему человеку расспра-шивать с таким жаром о разбойнике и самозванце, с име-нем которого было связано в том краю столько страшных воспоминаний, но еще менее постигали они, за что было отдать червонец. Дело показалось им подозрительным: чтобы де после не отвечать за такие разговоры, чтобы опять не дожить до греха да напасти! И казаки на дру-гой же день снарядили подводу в Оренбург, привезли и старуху, и роковой червонец, и донесли: „вчера де приез-жал какой-то чужой господин, приметами: собой не велик, волос черный, кудрявый, лицом смуглый, и подбивал под пугачевщину и дарил золотом; должен быть антихрист, потому что вместо ногтей на пальцах когти“. Пушкин много тому смеялся».

Будь Пушкин заправский специалист, записывающий народные песни, это его скорее опечалило бы, чем рас-смешило. Впрочем с настоящим специалистом, тип кото-рого лишь впоследствии развила русская этнография, такой казус и не мог бы случиться: тот знал бы, как подойти к «простому» человеку и не возбудить в нем недоверия. Из слов Даля, что старуха пела Пушкину песни, отно-сившиеся «к тому же предмету», т. е. к Пугачевщине вообще, мы не можем вывести сколько-нибудь точных, конкретных данных. Мало находим мы их и у других современников. Н. А. Кайдалов<sup>1</sup>, бывший при этом по-

<sup>1</sup> Из газ. «Современные Известия» 1880, № 164, перепеч. в «Тру-дах Оренбургской Ученой архивной комиссии», вып. VI, 1900, стр. 215.

сещении, рассказывал впоследствии: «по входе в комнату Пушкин сел к столу, вынул записную книжку и карандаш и начал спрашивать стариков и старух и их рассказы записывал в книжку. Одна старушка, современница Пугачева, много ему рассказывала и спела или проговорила песню, сложенную про Пугачева, которую Пушкин и просил повторить. Наконец расспросы кончились, он встал, поблагодарил стариков, которым роздал несколько серебряных монет, и отправился в Оренбург... Он суеверным старикам и особенно старухам не понравился тем, что, вошедши в комнату, не снял шляпы и не перекрестился на иконы и имел большие ногти; за то его прозвали антихристом; даже некоторые не хотели принять от него деньги (которые были светленькие и новенькие), называя их антихристовыми и думая, что они фальшивые». Этот свидетель, надо заметить, говорит только об одной песне, сообщенной Пушкину старухой. Другая современница, — правда, не свидетельница, — на основании чужих слов недели через две писала об этой самой старухе и Пушкине: «она рассказывала ему много любопытного и даже пела ему несколько пугачевских песен»<sup>1</sup>. Месяца два спустя та же особа ездила в Берды к старухе, которую посетил Пушкин. «Мы посетили ее — рассказывает она<sup>2</sup> — с тою же целью. Взяли с собою бумаги и карандаш, чтобы записывать, если она будет нам, как и Пушкину, петь песни». Старуха сообщила гостям, что действительно знала Пугачева («ничего греха таить: моя вина»). «Сказывала нам сочиненные в то время песни, и мы записали их». (Записи не дошли до нас). При этом старуха «со слезами на глазах» вспомнила о неприятностях, недавно перенесенных ею из-за Пушкина, который про-

---

<sup>1</sup> Письмо Е. З. Ворониной к Е. Л. Энгельке 25 сент. 1833 г. («Русский Архив» 1902, II, стр. 647).

<sup>2</sup> Письмо Е. З. Ворониной к Е. Л. Энгельке (Майков, «Пушкин» стр. 427—429; «Русский Архив», 1902, II, стр. 658—660).

извел на окружавших ее впечатление сущего «антихриста». Она «песни ему пела про Пугача», а бабы-соседки встревожили ее указанием на антихристовы когти любознательного гостя и достоверною ссылкой на «писание», где «сказано, что антихрист будет любить старух, заставляя их песни петь и деньгами станет дарить». На старуху это так подействовало, что она сама потребовала, чтобы ее отвезли в Оренбург к начальству, и успокоилась только тогда, когда ей сказали там, что «ему сам государь позволил об Пугаче везде расспрашивать».

Л. Н. Майков<sup>1</sup> по этому поводу заметил, что «в народе сохранилось мало песен касательно этого события (Пугачевщины): в 9-м выпуске сборника Киреевского помещено всего восемь<sup>2</sup> песен, имеющих отношение к Пугачевскому бунту и связанным с ним событиям, да еще одна песня сообщена М. Л. Михайловым в его «Уральских очерках» (Морской Сборник» 1859, № 9). Из песен, находящихся в сборнике Киреевского, только две записаны в Оренбургском крае и в том числе одна — Далем. Поэтому можно думать, что Бердская старуха пела Пушкину вообще казацкие песни, а не только из времен Пугачевщины».

С приведенными показаниями надо сопоставить еще один, позднейший, рассказ С. Н. Севастьянова<sup>3</sup>, который передает со слов опрошенной им в 1899 г. 86-летней казачки Блиновой, помнившей пребывание Пушкина в Бердах, что Пушкин, увидев на улице сидевшую у своего

---

<sup>1</sup> «Пушкин», стр. 430.

<sup>2</sup> Не восемь, а меньше. В одной из них (стр. 248—249 № 5), нет ни намека на Пугачевщину; другая, украинская «Ой, спав Пугач на могили» (стр. 368—369), точно перепечатанная из «Украинских народных песен, собранных Михайлом Максимовичем», ч. I, М., 1834, стр. 129, вовсе не относится к Пугачевщине, и говорится в ней не о Пугаче, а о пугаче (филине).

<sup>3</sup> «Труды Оренб. Учен. архивн. ком.» VI, стр. 161, 233—234.

дома казачку Бунтову, «которой было лет за шестьдесят», подошел к ней и «вероятно, увидав, что она очень древняя, спросил Бунтову, не знает ли она что-либо про Пугачева. Старушка ответила, что она всё знает про Пугачева и даже песню, что про него сложена. Господа попросили ее спеть. Бунтова спела им одну песню». После этой она по их просьбе еще спела им две песни. «Какие слова этих песен, я не упомяну, но говорилось про Пугачева, как он воевал, как вешал». Рассказчица вспомнила, как будто в них есть слова:

Не умела ты, ворона, ясна сокола поймать».

Далее Блинова описывает наружность Пушкина, не забывая упомянуть об его «предлинном ногте», и сообщает, что Бунтова показала приезжим, где в Бердах жил Пугачев, и что, дав ей «сколько-то денег», приезжие «пошли от Бунтовой вниз по улице, а Бунтова возвратилась домой». Если вспомнить, что Блинова рассказывала о событии не особенно для нее замечательном и притом 65—66 лет спустя, то ее рассказ надо признать довольно точным<sup>1</sup>, и потому можно поверить, что ее крепкая память точно сохранила стих одной из действительно пропетых Бунтовою песен. Встречу с Бунтовой Пушкин считал своею удачей (*bonne fortune*) и писал жене, что старуха помнит пугачевское время, «как мы с тобою 1830-й год, — я от нее не отставал».

Л. Н. Майков<sup>2</sup>, думая, что Бунтова пела Пушкину не только пугачевские, но и вообще казацкие песни, вместе с тем предположил, что следы их должно искать в эпиграфах к некоторым главам «Капитанской дочки». На это

---

<sup>1</sup> Нас интересуют только песни, а сопоставление вообще рассказов Ворониной, Блиновой и Кайдалова и согласование некоторых противоречий, встречающихся в них, произведено Д. Н. Соколовым («Пушкин в Оренбурге», — «Пушкин и его современники», стр. XXIII—XXIV 1916 г.

<sup>2</sup> «Пушкин» стр. 430.

Д. Н. Соколов<sup>1</sup> возразил, что «большинство эпиграфов взято там совсем не из народных песен (для последних источники указаны Н. Н. Трубицыным: «Пушкин и русская народная поэзия» в изд. соч. Пушкина под ред. С. А. Венгерова, IV, стр. 63—64). Но песню капитана Сурина<sup>2</sup>, начало которой приведено в примечаниях к «Истории Пугачевского бунта»:

Из крепости из Зерной  
На подмогу Рассыпной  
Вышел капитан Сурин  
Со командою один,

как раз должна была знать Бунтова, так как она касалась ее родины, крепости Нижне-Озерной».

В бывшей при Пушкине в эту поездку записной книжке сохранилась следующая песенная запись:

Из Гурьева городка  
Протекла кровью река.  
Из крепости из Зерной  
На подмогу Рассыпной  
Выслан капитан Сурин  
Со командою один.  
Он<sup>3</sup> нечаянно<sup>4</sup> в крепость въехал,  
Начальников перевешал,  
Атаманов до пяти,  
Рядовых сот до 6.

---

Ур.<sup>5</sup> Казаки  
были дураки  
Генерала убили  
Госуд

---

<sup>1</sup> «Пушкин и его современники», XXIII—XXIV, 98).

<sup>2</sup> Sic! Вернее — о капитане Сурине.

<sup>3</sup> Пугачев, который, заняв Рассыпную, двинулся на Нижне-Озерную и по дороге повесил высланного против него Сурина («История Пугачевского бунта», 1, стр. 25).

<sup>4</sup> Пелось, вероятно, «нечаянно» (неожиданно).

<sup>5</sup> Конечно «Уральские».

Из этих четырнадцать строк Пушкин четыре вышеупомянутые стиха привел в «Истории Пугачевского бунта»<sup>1</sup>, первые десять были помещены в «Отчете Имп. Публ. Библиотеки за 1889 г.», СПб 1893, стр. 56, а последние четыре напечатаны мною в газ. «Речь» 1910 г.<sup>2</sup> Вся же целиком запись печатается впервые здесь. Предположение Д. Н. Соколова, что песня о капитане Сурина была пропета Пушкину именно Бунтовой, тем вероятнее, что едва ли Пушкин сделал более точные и подробные записи; последние не только не дошли до нас, но вряд ли и существовали, так как их, как мы видели, не получил от Пушкина и Киреевский. Песню, в которой сохранилась память о Сурина, Пушкин назвал «солдатской», а вовсе не казачьей, и она действительно не казачья, так как в ней заключается резкое порицание и Пугачева, и вообще восстания. Если не вся, то во всяком случае в значительной части она дошла до нас в записи, которую мы здесь и приводим, так как эта запись до известной степени знакомит нас с теми песнями о Пугачевщине, которые довелось услышать Пушкину. Ее сохранил в своих «Преданиях о Пугачеве» талантливый писатель-казак Иоасаф Железнов, который в середине 1840-х годов застал еще в живых нескольких современников Пугачева, а в 1858 г., разъезжая по Яику, «подбирал крупицы, оставшиеся от старинного пирования», прибавляя к ним и то, что уцелело в его памяти из времен детства и юности<sup>3</sup>, не особенно далеких, значит, от того времени, когда на места Пугачевщины приезжал Пушкин. Старик И. М. Бахиров, отец которого лично знал Пугачева, пропел Железнову следующую песню<sup>4</sup>:

<sup>1</sup> Ч. I, СПб, 1834, примеч., стр. 30, с единственным вариантом: «Вышел» (вместо «Выслан»).

<sup>2</sup> № 45, 15 февраля, «Забывшие стихи Пушкина»; вошли в Соч. Пушкина под ред. С. А. Венгерова, т. VI, стр. 219, № 1072.

<sup>3</sup> «Уральцы. Очерки быта уральских казаков». Полн. собр. соч. И. И. Железнова, изд. 3-е, т. III, СПб, 1910, стр. 135—136, 137.

<sup>4</sup> Там же, стр. 166—168.







Того месяца сентября  
Двадцать пятого числа  
В семьдесят первым<sup>1</sup> году  
Во Яике-городу  
Приходили к нам скоры вести:  
Не бывать нам на месте.  
Яицкие казаки  
Бунтовщики были, дураки.  
Не маленькая была их честь,  
Задумали в един час:  
Генерала они убили  
В том не мало их судили;  
Государыня простила —  
Жить по-старому пустила.  
Они, сердце свое разъяря,  
Пошли искать царя.  
Они полгода страдали  
И царя себе искали.  
Нашли себе царя —  
Донского казака,  
Донского казака —  
Емельяна Пугача!  
Он ко Гурьеву подходил,  
Ничего не учинил.  
От Гурьева возвратился,  
С своей силой скопился.  
К Яику подходил,  
Из пушечек палил.  
От Яицкого городка  
Протекла кровью река.  
Он к Илецку подходил,  
Из пушечек палил.  
Илецкие казаки —  
Изменщики-дураки —  
Без бою, без драки  
Предались вору-собаке.  
В Татищевой побывал,  
Всю артиллерию забирал.  
Артиллерию забирал,  
Рассыпну крепость разбивал.  
Из крепости Озерной,

<sup>1</sup> Исправляя хронологическую ошибку, Железнов предложил старую вместо «первым» петь «третьем» (там же, стр. 168).

На подмогу Рассыпной,  
.....  
.....  
В крепости Рассыпной  
Был инералик молодой.  
Инерал Лопухин был смел,  
На коня он скоро сел.  
На коня он скоро сел,  
По корпусу разъезжал,  
По корпусу разъезжал,  
Всем солдатам подтверждал:  
— Ой вы, гой еси, ребята,  
Осударевы солдаты!  
Вы стреляйте, не робейте,  
Свинцу-пороху не жалейте.  
Когда мы вора поймам,  
Хвалу себе получим...

— «Дальше запомню, — сказал Иван Михайлович, кончив пение. — Да и смолоду-то я не очень любил петь ее: солдатска она! Солдаты же, чтоб их одрало, — прибавил рассказчик, — солдаты же, знамо, и приплели тут

Донского казака  
Емельяна Пугача.<sup>1</sup>

А по-нашему, — продолжал старик, — по нашему он был не Пугач, а настоящий Петр Федорович».

Причина скудости пушкинской песенной жатвы в краях Пугачевщины заключалась не только в кратковременности его поездки и в наивности его собирательских приемов (он подходил к народу как барин, да еще иногда в сопровождении местного начальства, а это и подавно не внушало доверия к расспросчику), но и в особенностях самого материала. О Пугачеве люди боялись го-

<sup>1</sup> Нами песня воспроизведена с полной точностью; обозначенные точками купюры находятся в подлиннике. Более краткий вариант см. в «Песнях, собранных П. В. Киреевским,» под ред. П. А. Бессонова, вып. 9, М, 1872, стр. 245—246 («В тем Сударыня простила...»).

ворить откровенно с человеком, который их «подбивал под пугачевшину», и весьма характерно, что единственная запись Пушкина — несколько стихов из «солдатской» песни, т. е. антипугачевской, несомненно внушенной солдатам правительством. Если верить Блиновой, то не трудно догадаться, что совсем другого направления была та песня, из которой уцелел в ее памяти стих:

Не умела ты, ворона, ясна сокола поймать.

Так, вероятно, отвечал плененный Пугачев допрашивавшему его генералу. С этими насмешливыми словами песни как нельзя лучше сходится передаваемый Пушкиным подлинный ответ Пугачева графу Панину, который спросил его: «Как смел ты, вор, назваться государем? — Я не ворон, — возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь, по своему обыкновению, иносказательно: — я вороненок, а ворон-то еще летает»<sup>1</sup>. Дивиться ли эпической яркости этого великолепного в своем роде ответа на графскую ругань, если даже генерал Бибииков, принимая от Екатерины поручение преследовать Пугачева, сумел кстати напомнить ей народную песню о сарафане, который «езде пригожается, а не надо, — и под лавкой лежит»?<sup>2</sup>

Как ни мало дошло до нас песен о пугачевщине, все-таки есть некоторая возможность судить о жанре песен не «солдатских», а выразивших сочувствие восстанию. Мнение П. А. Бессонова, что «у Пугачева, от лица его и за него, от народа нет особой песни; народу в песне представляется он счастливым гуляющим человеком, на которого чешутся руки, либо разбойником-преступным, либо «несчастливым», либо даже смехотвором; геройской

<sup>1</sup> Железнов (там же, стр. 195, 222) приводит казачий рассказ об «отроке», сыне Пугачева, и находит, что в нем «видна мысль заговорщиков высшего полета, мысль такого рода: если не удастся Пугач, авось удастся Пугаченюк». Но намек самого Пугачева Панину гораздо грознее и многозначительнее.

<sup>2</sup> «История Пугачевского бунта», 1834 г., стр. 57.

черты ни одной и хоть какого-либо подъема повыше, способного настроить творчество величавее, не видно нигде: просто Пугачев, и концы в воду»<sup>1</sup>, — это мнение курьезного историка, считавшего пугачевское движение «безобразием», которое временно «прервало по обычаю XVIII века народную песню тогдашней русской славы»<sup>2</sup>, опровергается хотя бы напечатанной самим же Бессоновым песней<sup>3</sup>, в которой Панин спрашивает Пугачева, много ли он перевешал князей и бояр, а Пугачев отвечает:

Перевешал вашей братьи семь сот семи тысяч<sup>4</sup>.  
Спасибо тебе, Панин, что ты не попался:  
Я бы чину-то прибавил, спину-то поправил,  
На твою-то бы на шею варовинны<sup>5</sup> возжи,  
За твою-то бы услугу повыше подвесил.

Тут же, рядом, другая песня<sup>6</sup> с явным сочувствием изображает «добротою молодца Емельяна казака сына Ивановича», который после трехсуточного боя «горючьими слезьми заливаётся», чуя «над собой невзгодушку». Песня эта не кончена, сообщено только ее начало, что случилось, надо думать, совсем не спроста. Без окончания осталась и другая песня — о «генерале Пугаче»<sup>7</sup>. А вот «солдатская», т. е. правительственная, явно сочиненная

<sup>1</sup> «Песни, собр. П. В. Киреевским», вып. 9, стр. 243—244.

<sup>2</sup> Там же, стр. 252.

<sup>3</sup> Там же, стр. 248, № 4.

<sup>4</sup> И это вошло в эпос из подлинной действительности. В другом месте Пушкин рассказал об одном безносом симбирском дворянине (поэт, очевидно, знал его имя, которое заменил \*\*\*), осыпавшем укоризнами плененного и сидевшего на цепи Пугачева. «Пугачев, на него посмотрев, сказал: — Правда, много перевешал я вашей братии, но такой гнусной обравинны, признаюсь, не видывал» («Современник», т. VIII, 1837, стр. 229—230).

<sup>5</sup> «Варовые, помягче и порастяжнее» (Песни, собранные Киреевским», вып. 9, стр. 248)

<sup>6</sup> Там же стр. стр. 247, № 3.

<sup>7</sup> Там же, стр. 246—247, № 2.

«под народ», песня<sup>1</sup> о «проклятом человеке», «воре — собаке» Пугачеве, которого «нанесло вихрем на святую Русь», когда

Уж при славной было при царице,  
При матушке при царице Катерине Алексеевне,  
Уж весь-то народ русский жил во счастьеце,  
В счастьеце, во раздольице, во богатьем житю.  
Уж как все-то купцы себе дом накопили,  
А бедные-то ни в чем нужды не видали,  
Все жили и молили за царицу...

Если Пушкину были известны подобные песни, то он, конечно, с презрением отбросил эти бессовестные и воздарные подделки. С другой стороны, он едва ли имел возможность дать в своей «Истории» место песням, выражавшим сочувствие восстанию и его вождю и исходившим из подлинно-народных, в частности казачьих, кругов. Но он с очевидным удовольствием воспроизводит в примечаниях (к 4-й главе) такой образец народного красноречия, как письмо пугачевцев к Оренбургскому губернатору, а в «Капитанской дочке» не забывает отметить, что воззвание Пугачева о сдаче крепости, «писанное каким-нибудь полуграмотным казаком», составлено было «в грубых, но сильных выражениях и должно было произвести опасное впечатление на умы простых людей». Больше простора дал поэт своим сочувствиям в «Капитанской дочке», которая богата претворенным (не в прямых цитатах) эпическим элементом. В своем гениальном романе Пушкин ярко подчеркивает «эпичность» Пугачева. Стоит вспомнить его «диководновенную» сказку об орле и вороне, его «любимую песенку» — «Не шуми, мати зеленая дубровушка», эту истинную жемчужину русского народного песнетворчества, весь стиль речей Пугачева и его товарищей.

---

<sup>1</sup> Там же, стр. 248—250, № 6.

\*

Д. Якубович

## «ДНЕВНИК» ПУШКИНА

### I

Мемуары, автобиографические записки, дневники были обычным жанром поместно-дворянского круга пушкинской эпохи.

Сам Пушкин вел «вседневные записки» еще в лицее: анекдот, литературное событие, эпиграмма чередовались здесь с интимно-лирической записью, бытовой зарисовкой, творческим самоотчетом...

В кишиневской ссылке двадцатых годов дневниковые записи продолжались. Сохранившиеся листки имеют по нескольку дат за неделю. Дневник обогатился новой тематикой, бреттерской иронией, зрелыми литературными мнениями, получил общественно-политическую насыщенность — имена Ипсиланти, Пестеля, Чаадаева красноречиво говорят с уцелевших листков о круге интересов Пушкина.

Отдельные записи того же рода, лаконические, порою шифрующие значительные встречи, отмечающие памятные события, сохранились и от позднейших лет. Такова зашифрованная запись: «уосРГМКБ. 24», т. е. «услышал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева-Апостола, Каховского, Бестужева-Рюмина 24 июля 1826 г.»

В так называемой «Родословной Пушкиных и Ганнибалов» Пушкин приоткрыл историю своих дневников, своих автобиографических попыток. Он пишет: «Несколько раз принимался я за ежедневные записки, и всегда отступал я из лени. В 1821 году начал я мою биографию и не-



сколько лет сряду занимался ею. В конце 1825 г., при открытии несчастного заговора я принужден был сжечь свои тетради, которые могли замешать имена многих, а может быть и умножить число жертв. Не могу не сожалеть о их потере (они были бы любопытны): я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, с откровенностью дружбы или короткого знакомства. Теперь некоторая торжественность их окружает и, вероятно, будет действовать на мой слог и образ мыслей, за то буду осмотрительнее в моих записках...»

Огненная черта декабрьского восстания, разделившая жизнь Пушкина на две половины, испепелила и его интимные записки. Как предок Ганнибал, по рассказу Пушкина, «в припадке панического страха» сжег свои записки «вместе с другими драгоценными бумагами», так же принужден был поступить, боясь «замешать имена многих, а может быть и умножить число жертв», и сам Пушкин. Записи об исторических лицах, сделанные поэтом «с откровенностью дружбы», — эти тайны документа навек истребил огонь.

Но Пушкин, за эти годы давший царю торжественный обет «хранить свой образ мыслей про себя», не оставил обычая фиксировать летучие впечатления и, если и не научился вполне быть «осмотрительнее» в выборе и характере записи, то явно пробовал конспирировать свои «дневники», пытался создавать шифрованную форму.

Под этим углом зрения только и можно рассматривать все, что осталось у него в этом жанре от более позднего времени. Однако и «осмотрительный», зрелый Пушкин все же остается во многом прежним Пушкиным, и дело исследователей — без буквализма, но и без увлечений скрытым смыслом, читать эти его записки, трезво и тщательно определяя их подлинный удельный вес, их смысл.

Записки 1831 года имеют дневниковую датировку, но это уже не личный дневник. Это — дневник современника

событий, имеющих историческое значение. Такова новая установка Пушкина. И в центре — новый герой и отчетливая новая тема. Герой — государь Николай I, тема — мятеж. Эти элементы останутся неизменными и в позднейших «дневниках».

Царь не может один обуздать мятежа, так же как карантинны не могут одни препятствовать распространению холеры — таков вывод, напрашивающийся из записок 1831 г. В самом деле, Пушкин записывает: «Россия имеет 12 000 верст в ширину. Государь не может явиться везде, где может вспыхнуть мятеж», и, в подозрительной смежности, продолжает: «16 губерний вдруг не могут быть оцеплены, а карантинны, не подкрепленные достаточной цепью, военною силою — суть только средства к притеснению и причины к общему неудовольствию». Я назвал смежность этих двух записей подозрительною, потому что для Пушкина характерен этот прием шифра: непосредственно за одной записью дать другую, внешне не связанную с первой, но по существу являющуюся ее расшифровкой. Ниже мы увидим и другие примеры того же приема.

Двойной план становится еще яснее и безусловнее при анализе так называемого «Дневника» 1833—1835 гг., дошедшего до нас хоть и не вполне, но все же в виде сплошных масс записей, преимущественно падающих на 1834 год.

## II

У нас существуют два классических ученых издания «Дневника», дающих обширный реальный комментарий<sup>1</sup>. Однако попытки разгадать сущность этого «Дневника», понять пушкинскую целеустремленность — пока не было

<sup>1</sup> Дневник Пушкина, ред. и примеч. Б. Л. Модзалевского, статья П. Е. Щеголева, ГИЗ, 1923; Дневник А. С. Пушкина, ред. и комментарий В. Ф. Саводника, М. Н. Сперанского, Г. П. Георгиевского, ГИЗ, М. 1923.

сделано. Только отдельные вопросы были поставлены П. Е. Щеголевым в его прекрасной вступительной статье к ленинградскому изданию «Дневника». Он хорошо сказал: «Мы должны оправдать надежды, которые Пушкин возлагал на потомство, оставляя ему свой дневник... разгадать настоящие намерения автора».

Кое-какой ценный материал этого рода, собранный до сих пор, совершенно тонет в биографическом комментарии, predetermined необходимостью в первую очередь разъяснить более тысячи собственных имен, в значительной своей части совершенно чуждых нашему времени. Без реального комментария «Дневник» мало понятен. Необходимость же тяжелого аппарата комментариев делает его мало доступным широкому читателю и, в сущности говоря, скрывает его подлинную телеологию. Нельзя сказать, что пушкинский «Дневник» читается у нас, и еще менее, что он понят, что он укладывается как-то в систему и произведений Пушкина и его взглядов. Специальных исследований, посвященных «Дневнику», нет вовсе за исключением вступительных статей к поименованным выше изданиям. Не используется он и в общих работах по Пушкину. Старый взгляд, что Пушкин давал дневник придворных сплетен, еще господствует.

Прежде всего должно поставить вопрос о самом жанре, необходимый для уяснения пушкинского замысла. Под «Дневником» обычно разумеются поденные записи о всем в личной и общественной жизни, заслуживающем внимания и закрепления с точки зрения автора, — записи, ведущиеся систематически непосредственно по живым впечатлениям, или же через некоторый промежуток времени. Непосредственность, а не преднамеренность, в какой-то мере характерна для обычного дневника.

Можно ли сказать, что так называемый «Дневник» Пушкина строго отвечает этому определению? Сам Пушкин не употреблял этого слова.

«Дневник» Пушкина — совершенно своеобразная стра-

ница в истории Пушкина-мемуариста, Пушкина- историка.<sup>1</sup> Дневниковая и эпистолярная практика, интерес эпохи к запискам, к историческому анекдоту и личный интерес Пушкина к историческим жанрам создали эту особую, только Пушкину присущую литературную форму социально-острых записок о *современности*, в центре которых (это-то обычно и заставляет считать их простым дневником) действует сам автор. В сущности говоря, подобные же записки, столь же порой социально насыщенные, но записки о *прошлом* и не объединенные личностью автора, представляют собой пушкинские анекдоты и «Застольные разговоры» (Table-Talk). Многие из них кажутся листами, вырванными из «Дневника»; многое из «Дневника» могло бы войти в жанр «Рассказов Загряжской» (напр., запись 4 декабря 1833 года) и «замечаний» (напр., анекдот об Екатерине, записанный 7 января, анекдоты Полетики, записанные 21 мая, рассказ о Трощинском, записанный 9 августа 1834 г.).

Так называемый «Дневник» — прежде всего, разнороден, он представляет собой датированные записки на разные темы, но менее всего то, что называется личным дневником интимного характера. Кстати: даже родственное в некоторой мере по жанру «Путешествие в Арзерум» определено Пушкиным как «Путевые записки».

В этом смысле большинство писем Пушкина, особенно его интимных и дружеских писем, вытянутых в одну хронологическую линию, может быть с гораздо большим основанием названо подлинным дневником поэта. Достаточно для этого сблизить с «Дневником» 1833—1835 гг. письма Пушкина за этот же период.

Пушкинского заглавия этой совершенно белой рукописи не сохранилось. Опись бумаг Пушкина, составлен-

---

<sup>1</sup> Материал этого рода обстоятельно собран в предисловии Б. Л. Модзалевского к ленинградскому изданию «Дневника», См. стр. II—IV.

ная после его смерти, именуется рукопись «Журналом»<sup>1</sup>. Вероятнее всего, здесь сказалась устная традиция, через Жуковского ведущая к самому Пушкину. Тот же термин употребляет и его товарищ М. Л. Яковлев. Сын поэта А. А. Пушкин говорит о «записках». П. И. Бартенев — о «памятной книжке». Позже утвердилось название «Дневник». Можем пользоваться этим последним, ставя его всюду в кавычках. Как увидим, Пушкин менее всего был занят обычными дневниковыми записями. В действительности его интересовал прежде всего *отбор* материала, *подбор* фактов, за которым лежала определенная объединяющая их идея.

Разобраться в целях и характере этого выбора не всегда легко: эзоповский язык и осмотрительный стиль дешифрируются не всегда полно, иногда вовсе не дешифрируются. Но не подлежит сомнению, что этот пушкинский документ, с надписью «№ 2», — меньше всего простой дневник, писанный, как думали до сих пор, «*sine ira et studio*»...

Необходимо обратить внимание прежде всего уже на внешний вид «Дневника». Другие большие рукописи Пушкина представляют собой либо записные книжки, либо тетради переплетенные, или без переплета, либо альбомы, куда не только день за днем, но иной раз год за годом заносил Пушкин факты своей творческой жизни (в черновых рукописях обычно в перемежку с материалами быта и рисунками). Ничего подобного не находим в рукописи «Дневника». По внешнему виду ее скорей можно сравнить с белой парадной рукописью Пушкина, какие делал он для царя, для цензуры, для печати. Ничто не обличает здесь той непосредственно-интимной черновой манеры, которая характерна для подлинных дневников или для избыточных зачеркиваниями, переделками, исправлениями чер-

---

<sup>1</sup> Употребление Пушкиным этого слова см. в его письме к жене от 21 сентября 1835 г.

новых писем. Черновая стадия здесь пройдена, дан (если не считать сокращений в именах) только взвешенный беловик, с которым Пушкин хочет выступить перед кем-то, выступить с определенной целью...

Вдобавок к этому рукопись «Дневника» совершенно необычно заключена в переплет с замочком, т. е. представляет собою нечто вроде запирающегося портфеля<sup>1</sup>.

После смерти Пушкина, когда все его рукописи, и в том числе «Дневник», были пронумерованы жандармами на его последней петербургской квартире, «Дневник» был возвращен семье поэта и, никому недоступный, хранился у его вдовы, а позже рукопись перешла к старшему сыну Пушкина, который также «бережно и ревниво хранил ее у себя в кабинете под замком»<sup>2</sup>, даже тогда, когда все остальные рукописи были переданы им Румянцевскому музею.

Таким образом, очевидно, не случайно отбившийся от остальных рукописей Пушкина, «Дневник» до самой смерти А. А. Пушкина оставался в его руках и только после революции стал общественным достоянием.

Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что вскоре после смерти поэта его товарищ Яковлев писал одному из своих друзей: «Журнал Пушкина действительно я имею, но пересылать тебе его для прочтения не нахожу удобства, потому что пересылка обойдется слишком дорого». «Слишком дорого» могло обойтись и напечатание «Дневника», чем и объясняется, что до 1910 года полный текст его был неизвестен, а с комментариями он смог появиться лишь в 1923 году.

Уже одна совокупность указанных обстоятельств за-

---

<sup>1</sup> Представление о внешнем виде его дает снимок, помещенный в журнале «Нива» за 1913 г., № 41 (заметка «Пушкинские реликвии»).

<sup>2</sup> «Художественная жизнь», 1920, № 3, март-апрель, стр. 40; в указанной заметке «Нивы» сказано: «У себя Александр Александрович оставил дневник, особо переданный ему матерью.»

ставляет исследователя «Дневника», так сказать, «настроиться». Но перейдем к содержанию «Дневника».

Перелистывая эти записи, будем останавливаться главным образом на недостаточно разъясненных или совсем не разъясненных местах.

Количественно меньшая часть «Дневника» относится к 1833 году. Следует подчеркнуть, что начало (8 страниц тетради) вырвано, и можно полагать, что сам Пушкин, или после его смерти его близкие, боялись сохранить начальные записи этой тетради, которые, вероятно, должны были касаться первой половины ноября 1833 г., т. е. времени приезда Пушкина из Болдина в Москву и его первых впечатлений в ней и в Петербурге.

Почти каждая страница и, во всяком случае, большинство записей этой избранной хроники звучат сатирически, полны скрытого, но раскрываемого презрения. Они зовут к бесповоротному суду потомков.

В первой же сохранившейся записи Пушкин не боится произнести запретное имя: вспомнить о своей встрече в Кишиневе с Пестелем. Казненный вождь декабристов, о котором Пушкин некогда записал: «Мы с ним имели разговор метафизический (т. е. философский, Д. Я.), политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю», — Пестель представлен теперь, в 1833 году, как сподвижник Александра I, якобы компрометировавший в свое время в глазах царя греческих повстанцев, чего в действительности не было.

Таким образом, имя Пестеля остроумно утверждено в «Дневнике». Смежная запись о генерале Сухозанете — быть может, не случайный переход от декабристской темы. Сухозанет картечью расстреливал декабристов. В 1833 г. он получил новое назначение, отмечаемое Пушкиным. Было бы непонятно, для чего отмечает это малое событие Пушкин, если бы фигура генерала не была подчеркнута в своей отрицательности французским намеком на противоестественный порок Сухозанета.

Непосредственно дальше Пушкин косвенно протестует против государственных трат на прихоть царя: дорогие дамские мундиры — «особенно в настоящее время, бедное и бедственное». Пушкин не говорит, что думал он сам по этим поводам на обеде у Энгельгарда, но прибегает к хитрой формуле, которую будет употреблять и впредь, а именно к третьему лицу: «осуждают», «кто-то сказал».

Следующий день открывается той же защитной формулой: «Три вещи осуждаются вообще — и по справедливости», и дальше расшифрован мерзкий облик Сухозанета, с внешней попыткой выгородить государя, вновь осуждены «дамские мундиры» и категорически осуждена тактика царя, лично заступившегося за вора-дворянина, гвардейского офицера, фон-Бринкена, дело которого царь передал особому суду. В последнем пункте Пушкин чувствует возможность быть более смелым, опираясь на имеющиеся законы: «Прилично ли государю вмешиваться в обыкновенный ход судопроизводства? Или нет у нас законов на воровство?» Замечателен лаконический, полный умолчаний финал этой записи: «Конечно со стороны государя есть что-то рыцарское, но государь не рыцарь... Или хочет он сделать опять из гвардии то что была она прежде? Поздно». И в следующих записях Пушкин останавливается на «упадке гвардии».

В памятный день 14 декабря Пушкин по возможности бесстрастно заносит в «Дневник» личную обиду на то, что царем «вымараны» многие стихи «Медного Всадника»; он не протестует, не восклицает: Нет. Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля, — он только сухо, но решительно замечает: «все это делает мне большую разницу. Я вынужден был переменить условия со Смирдиным». Такова эта единственная лаконичная жалоба Пушкина потомству на то, что его поэма осталась ненапечатанной при жизни поэта.

Но зато в соседних записях Пушкин не выдерживает летописного тона и раздражается обличительной, клеймя-



щей филиппикой по поводу лиц стоящих «у трона»: «Кочубей и Нессельроде получили по 200 000 на прокормление своих голодных крестьян — эти четыреста тысяч останутся в их карманах. В голодный год должно стараться о снискании работ и об уменьшении цен на хлеб... В обществе ропщут, — а у Нессельроде и Кочубей будут балы...»<sup>1</sup>

Действительно, на другой же день отмечен бал у Кочубея. Зато вскользь указано: «Вчера не было обыкновенного бала при дворе». Этим Пушкин своеобразно хотел остановить внимание будущего читателя на том обстоятельстве, что в день подавления декабрьского восстания царь традиционно задавал балы в Аничковом дворце. 1833 год заканчивается намеками более общими: анекдотом о дворцовой мебели, на всякий случай приписанным какому-то «N», и ироническим выпадом против полиции, которая «видна занимается политикой, а не ворами и мостовой».

Важнейшим в жизни Пушкина событием 1834 года была обида на «пожалование» его камер-юнкерством. В течение первых трех месяцев Пушкин особенно остро переживал ее и только постепенно стал убеждать себя: «государь верно думал о моем чине, а не о моих летах — и верно не думал уж меня кольнуть», но в первый день нового года Пушкин был взбешен, и его запись в этот день дает нам некий ключ и к пониманию «Дневника». Новогодний подарок царя, ставивший знаменитого поэта в униженно-смешное положение — в один ряд в чиновничьей лестнице с «молокососами», великосветскими бездельниками, — Пушкин, в лучшем случае, мог рассматривать как вопиющую бестактность. Но подозрительность его в этот момент дошла до последней черты — светская усмешка должна была ему чудиться повсюду. Н. О. Пушкина кон-

<sup>1</sup> С этой записью следует сопоставить также запись от 17 марта следующего, т. е. 1834 года: «Вероятно купечество даст также свой бал. Праздников будет на пол-миллиона. Что скажет народ умирающий с голода?»

стативирует неожиданность события для своего сына; Вяземский потрясен: «Александр Пушкин, поэт Пушкин — теперь камер-юнкер Пушкин». Приятель Пушкина — Алексей Вульф почти через два месяца записывает: «Самого поэта я нашел... сильно негодующим на царя за то, что он одел его в мундир, его, написавшего теперь повествование о бунте Пугачева и несколько новых русских сказок. Он говорит, что он возвращается к оппозиции...»

Один из официальных свидетелей — Вюртемберский посланник также сообщал, что Пушкин «вновь переходит к принципам оппозиции»<sup>1</sup>.

Во всяком случае «рана» была велика, заживала не скоро, тем более, что за обидным неотвязным мундиром стоял еще мучительный вопрос о необходимом привлечении ко двору не только его, уже научившегося ломать себя, но и юной, стремящейся к блеску этого двора Натальи Николаевны.

### III

Никто еще не попробовал до сих пор расшифровать пушкинской записи, открывающей 1834 год: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры — (что довольно непри-

<sup>1</sup> Любопытно что, в то время как пожалованный одновременно с Пушкиным Реймер имел чин коллежского ассесора, Пушкин был всего лишь титулярным советником. Возможно, что и в этом Пушкин видел для себя лишний, намеренно сделанный укол. Ведь еще в июле 1831 года Пушкин писал Бенкендорфу: «... Мне следовало за выслугу лет еще два чина, т. е. титулярного и коллежского ассесора, но бывшие мои начальники забывали о моем представлении. Не знаю, можно ли мне будет получить то, что мне следовало». (Переписка Пушкина, ред. В. И. Саитова, т. II, стр. 278). Еще в мае 1830 г. Пушкин писал Хитрову: «... Очень любезно, что Вы принимаете участие в моем положении по отношению к Хозяину. Но какое же место, по Вашему, я могу занять при нем? Я по крайней мере не вижу ни одного, которое могло бы мне подойти. У меня отвращение к делам и *des boumagui*, как говорит гр. Ланжерон. Быть камер-юнкером в моем возрасте уже поздно. Да и что я стал бы делать при дворе? Ни мои средства, ни мои занятия не позволяют мне этого».

лично моим летам). Но двору хотелось, чтобы N. N. танцовала в Аничкове. Так я же сделаюсь русским Dangeau».

Последняя фраза долго бессмысленно читалась у нас: «Так я же сделаюсь русским Дон-Жуаном». В настоящее время комментаторы так объясняют эту фразу: «... Пушкин, как он сам говорит иронически, решил стать «русским Dangeau», т. е. мемуаристом придворного стиля» (М. Н. Сперанский). Другой комментатор (В. Ф. Саводник) говорит о «Дневнике», который вел Данжо: «В этом дневнике он почти не касается вопросов политических и общественных, в широком смысле слова: все внимание его сосредоточено на изображении придворной жизни, празднеств, церемоний и т. д. Данжо заносил эти сведения на страницы своего дневника день за днем, с чисто протокольной точностью, сжатостью и беспристрастием, почти не сопровождая их никакими комментариями».

Приблизительно так же комментировал это место «Дневника» и Б. Л. Модзалевский: „Он (Данжо) день за днем вносил все, что происходило при дворе и в королевском семействе. Несмотря на стиль записей, краткость, мелочные подробности и повторения, — это наиболее ценный документ о частной жизни Людовика XIV, неисчерпаемый источник разных указаний».

П. Е. Щеголев вовсе обошел вопрос о Пушкине-Данжо.

Таким образом, из этих комментариев невольно создавалось впечатление, будто Пушкин собирался в 1834 году сделаться беспристрастным протоколистом дворцовой жизни — больше ничего.

Считая этот вопрос важным, решенным неверно, я нахожу нужным в подробностях задержаться на нем для полного выяснения пушкинских слов, т. е. того угла зрения, под которым в действительности писался «Дневник».

Комментаторами правильно установлено, что Пушкин имел в виду маркиза де Данжо (1638—1720), французского мемуариста при дворе Людовика XIV, игравшего роль вельможи, дипломата, ученого, писателя, оставившего свой

«Журнал» (1684—1720), изданный в отрывках Вольтером, Жанлис, Лемонтэ и более полно — в 1830 г. Последнее четырехтомное издание («Мемуары и Журнал маркиза де Данжо, изданные впервые по подлинным рукописям с примечаниями герцога де Сен-Симона») Пушкин имел в своей личной библиотеке (первые два тома разрезаны, в третьем разрезаны 105 страниц, последний том — не разрезан). Также имел Пушкин и упомянутое издание Лемонтэ. Это № 1089 — «Очерк учреждения монархии Людовика XIV... предшествуемый новыми мемуарами Данжо»... Париж, 1818. Предисловие начинается здесь с оценки издания Жанлис и характеризует «тривиальные, или бесполезные предметы, которыми изобилует Журнал маркиза де Данжо», говорит, что «низость мелочей и плоскость стиля в нем постоянно скрывают курьезные и значительные факты, которых тщетно ищешь у других».

Эти характеристики, таким образом, были прекрасно знакомы Пушкину.

Обратимся к другим книгам его библиотеки и, прежде всего, непосредственно к «Журналу» того автора, которого он назвал своим образцом. Четыре зеленые томика Данжо представляют собою действительно методически ведущийся день за днем рассказ о придворной жизни Людовика XIV, достигшего вершины славы. Сухо, лаконично, без видимого отбора фактов, излагаются мелочи придворной жизни, в которых тонут упоминания о смерти Корнеля, или о том, что король много смеялся на представлении «Мещанина во дворянстве». Автор-регистратор автоматически отмечает состояние желудка короля, его прогулки с дамами, его поездки верхом. Записи обыкновенно начинаются монотонным: «король сказал», «король завтракал», «король гулял», и бессодержательность королевской жизни, каждый шаг которой подстережен записывающим механизмом, в совокупности слагается в яркую, почти сатирической силы обличительную картину ничтожества, пустоты, убожества всех этих каруселей, столов,

накрытых на столько-то кувертов, пенсий, даваемых придворным дамам, списков лиц, удостоившихся аудиенции, и снова описаний того, что ел король, до которого часу гулял в саду при луне, при какой погоде ездил верхом, сколько дам было за столом и какая играла музыка и так до бесконечности, месяцы, годы.

Читать «Журнал» Данжо сейчас почти невозможно. Но значение потрясающего документа именно потому в нем запечатлено неоспоримо. Он красноречив, как в нашу эпоху собрание бесцветных речей Николая II.

Уже издатели его в 1830 г. подчеркивали в предисловии:

«Эта манера историче en gazette должна быть отмечена особо как материалы полезные для будущего историка; это камни, неотесанные в каменоломне: они должны быть препарированы, прежде чем употребляться; постройка будет потом».

«Мемуары-журналы имеют также свои недостатки и свои достоинства: люди и вещи в них видятся слишком вблизи и редко с высоты; но эти ложные суждения почти всегда разбиваются временем и современное пристрастие падает перед истиной»... «Воспоминания маркиза Данжо более исторические, чем литературные». Вот эту своеобразную обличительную силу, скрытую в «Журнале» Данжо, оставшемся потомкам, очевидно, и имел в виду Пушкин, сам писавший «в пользу будущего Вальтер-Скотта». Но Пушкин — не Данжо, и его «журнал» оказался сатирой совершенно иного рода. Перехожу к другим неизвестным материалам, освещающим вопрос о Пушкине и Данжо.

В библиотеке Пушкина имеется еще одна книга, представляющая интерес с этой точки зрения. Это — «Мемуары герцога де Сен-Симона» (№ 1345) в издании 1826 г. Здесь, как отметил в свое время Б. Л. Модзалевский в своем описании библиотеки Пушкина, в томе I, разрезанном до страницы 297, лежит между стр. 274—275 оумажная закладка — отрывок из письма Елиз. Мих. Хит-

рово со словами: «Ma très chère, Doly est uni...», а на обороте рукою Пушкина написано несколько цифр.

До сих пор, однако, не было обращено внимания на то, какое именно место заложил Пушкин. Между тем, это место — из главы, носящей подзаголовок: «1696. Данжо, кавалер особых поручений при короле, дядька Монсиньора (т. е. Ришелье), придворный кавалер госпожи герцогини Бургонской», (стр. 272—276). Здесь Пушкин нашел трактовку Данжо как третировавшейся фигуры, угождавшей любовницам короля, как посредственности, писавшей плохие стихи, но отличавшейся галантной внешностью.

Здесь же рассказывается, что у супруги дофина была фрейлина «прекрасная как день, стройная как нимфа» и безупречной добродетели. Она нравилась королю и г-же Ментенон. Данжо хотел жениться на ней, но она решительно воспротивилась этому. Король и вельможи вмешались. Она согласилась.

Этим рассказом еще более подчеркнута ничтожность Данжо в глазах короля, интересующегося его красавицей-женой. Далее Данжо характеризуется как постоянный предмет всеобщих насмешек («невозможно помешать ни любить его, ни насмеяться над ним»). Почести и титулы, которые ему дает король, превращают его в «обезьяну короля», весь двор потешается над ним, а он полагает, что им восхищаются. Но жена его делается первой придворной дамой, а госпожа Ментенон, видимо, двусмысленно одобряет ее «брак по вкусу короля, брак, в котором она жила как ангел». Вскользь Данжо характеризуется как автор боязливого (*timide*) хронологического изложения общественных дворцовых событий<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Неоднократные ссылки на «Журнал» Данжо Пушкин находил еще в книге своей библиотеки (№ 1229) «Mémoires, fragments historiques et correspondance de Madame la Duchesse d'Orléans». 1832—1833, стр. 87, 180, 182, 278—287, 326, 375, 382. На книге Пушкин надписал карандашом свою фамилию. Он нашел здесь сведения и о жене Данжо (глава «Maintenon»).

Так вот почему заложил Пушкин закладкой эту характеристику, вот почему записал в своем «Журнале»: «Двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове. Так я же сделаюсь русским Данжо». Это звучит как угроза, это почти повторение «ужо тебе», которым грозит царю за раздавленную любовь несчастный Евгений «Медного Всадника».

Камер-юнкерство было воспринято как будущий источник насмешек. А, так вы смотрите на меня, как на ничтожного Данжо, неразборчивую преданность которого можно купить любым, хотя бы и смешным титулом, а красавицу-жену которого можно заставить плясать во дворе на ролях первой придворной дамы? Хорошо же, я буду посмешищем-Данжо, но вы увидите, что я сделаюсь русским Данжо!

Такова новая форма оппозиции Пушкина.

#### IV

Именно так, мне кажется, надо рассматривать угрозу взбешенного Пушкина по поводу его «пожалования», под этим углом зрения анализировать его уже и до этого момента осторожный, взвешенный в каждой записи, имеющий свою цель «Журнал». Думается, в этой же связи следует рассматривать и следующую непосредственно за тирадой о Данжо запись: «Скоро по городу разнесутся толки о семейных ссорах Безобразова с молодою своею женою. Он ревнив до безумия. Дело доходило не раз до драки и даже до ножа. — Он прогнал всех своих людей, не доверяя никому. Третьего дня она решилась броситься к ногам государыни, прося развода или чего-то подобного. Государь очень сердит. Безобразов под арестом. Он кажется сошел с ума». Неясным оставил Пушкин (не разъяснили этого и комментаторы) только один ряд вопросов: к кому ревнует столь бешено флигель-адъютант

Безобразов свою жену-фрейлину и *почему* очень сердит государь, почему пришлось вмешивать в дело царицу. Между тем в ответах на эти вопросы весь смысл записи, внезапно вкрапленной *между двумя* автобиографическими записями о камер-юнкерстве, об отношении царя к Пушкину.

Дело, конечно, в том, что Пушкин вновь пользуется приемом расшифровки своих мыслей смежным эпизодом. Флигель-адъютант Безобразов ревновал красавицу-жену к Николаю Павловичу, ухаживающему по созданной им традиции за той, кого он сделал фрейлиной и которую сам недавно выдал за Безобразова<sup>1</sup>. Отсюда понятны и бессильное бешенство Безобразова перед могучим соперником, и его попытка апеллировать к царице, и гнев царя, кончившийся арестом Безобразова и его ссылкой на Кавказ<sup>2</sup>.

Но, вкрапывая этот эпизод в ткань повествования о себе в роли Данжо, о том, что «двору хотелось, чтобы N. N. танцевала в Аничкове», Пушкин, конечно, не просто передает городскую сплетню, но явно намекает, что подобная история ревности может повториться и в другом случае<sup>3</sup>.

Что касается до камер-юнкерства, то Пушкин подчеркивает, что в первую же свою встречу с Николаем оба они не говорили ни слова на эту тему. Царь предпочитал осведомляться о впечатлении, произведенном на поэта, через третьих лиц.

Постепенно Пушкин начинает верить (или убеждать себя), что намеренного оскорбления не было. Вдобавок, внимание его отвлечено разрешением издавать «Пугачева»,

---

<sup>1</sup> Ср. статью Н. А. Добролюбова «Разврат Николая Павловича и его приближенных любимцев» с комментарием М. А. Цявловского («Голос минувшего», 1922, № 1, стр. 64-68).

<sup>2</sup> Брат Безобразовой писал даже по этому поводу резкое письмо Николаю.

<sup>3</sup> В той же смежности запись о Безобразовых и запись о камер-юнкерстве повторена Пушкиным еще раз (7 января).





*lib.pushkinskiydom.ru*



и он даже готов на радостях признать царские замечания «дельными». При этом по записи Пушкина выходит так, что царь до середины января 1834 г. не знал об исторической работе Пушкина. Но зато начинаются постоянно раздражающие поэта столкновения с царем из-за этикета в одежде, — все эти недоразумения с формой шляпы, мундира, фрака, сапог, которые фактически делали его пребывание при дворе невыносимым и ставили поэта в зависимое положение ученика, которому всегда могут сделать выговор и «головомытье» за «промахи» «противу Этикета».

В этой нервирующей атмосфере, когда Пушкин готов лучше идти навстречу крупной неприятности, вовсе не являясь ко двору, чем терпеть систематические уколы, — бросается в глаза, что «Журнал» Пушкина, скользя по незначительным событиям светской жизни, настойчиво отмечает явления, связанные с двумя попрежнему интересующими поэта датами. Одна из этих дат — 11 марта — убийство Павла. Вторая — 14 декабря.

Вот, отмечается, что «на бале явился цареубийца Скарятин» (по преданию, задушивший Павла), что Жуковский поймал «цареубийцу Скарятина и заставил его рассказывать 11-е марта», причем Пушкин подчеркивает, что Николай Павлович застал этот разговор, «застал наставника своего сына дружелюбно беседующего с убийцею его отца. Скарятин снял с себя шарф, прекративший жизнь Павла I-го».

Далее записаны слова Аракчеева о другом из прикосновенных к убийству Павла (Уварове), на похоронах которого присутствовал Николай I: «Один царь здесь его провожает, каково-то другой там его встретит», сказал Аракчеев, и Пушкин раскрывает фальшивое положение, в которое поставлены Романовы, замечая в скобках: «Уваров один из цареубийц 11 марта». Сам Пушкин 17 марта разговорился «об 11-м марте»; 2-го июня он записал: «Говорили много о Павле I, романтическом нашем импера-

торе». Моменту «перемены, происшедшей в государстве», посвящена и запись 9 августа.

Записи, связанные с воспоминаниями 14 декабря, которые Пушкин хочет оставить потомкам, сделаны с сугубой осторожностью. Так, отмечено, чем занимался царь «13 июля 1826 г.», т. е. в момент казни декабристов. Оказывается, Николай забавлялся в это время с собакой, бросая ей в воду платок. Ему сказали «что-то на ухо», «царь бросил и собаку и платок и побежал во дворец». Но Пушкин показывает, что запись сделана им не случайно: «Фрейлина подняла платок в память исторического дня». Загадочной остается запись, несомненно, однако, связанная с тем же 14 декабря: «Государь не любит Аракчеева. Это изверг, говорил он в 1825 году (*поработав с ним и возвращаясь к императрице в совершенно беспорядочном костюме*)». Легко представить себе, какова была эта совместная работа с извергом, — словно хочет намекнуть этой по-французски сделанной записью Пушкин.

Тема 11 марта скрещивается с темой 14 декабря в записи 17 марта 1834 года, где Пушкин достаточно непочтительно отзывается о Романовых — предшественниках Николая. Прежде всего отмечается «странность» Александра I, который «окружен был убийцами своего отца. Вот причина, почему при жизни его никогда не было бы суда над молодыми заговорщиками, погибшими 14 декабря. Он услышал бы слишком жестокие истины». Нотабеной, сделанной в этом месте, Пушкин подчеркивает связанность Александра I участием в заговоре против Павла и продолжает: «Государь ныне царствующий первый у нас имел право и возможность казнить цареубийц, или помышления о цареубийстве. Его предшественники принуждены были терпеть и прощать». Фразу Пушкина можно понять и так: раньше не казнили подлинных цареубийц, даже приближали их к трону, а Николай казнил за одни помышления.

Запись от 11 апреля также возвращает читателя пушкинского «Журнала» к годовщине 14 декабря, но уже в

связи с польскими событиями. Французская выписка из журнала, приведенная Пушкиным, — возражение польскому историку и революционеру эмигранту Лелевелю. Лелевель пытался разъяснить в годовщину декабрьского восстания настроения русской молодежи недавнего прошлого и в связи с «поступательным развитием революционного принципа в России» цитировал ложно приписывавшиеся Пушкину революционные стихотворения и говорил об его ссылке. Так как Пушкину уже приходилось доказывать в свое время русскому правительству, что стихи эти ему не принадлежат, то цитата польского патриота была ему неприятна, как и упоминание об его ссылке. В частном письме Строганову Пушкин прямо воскликнул: «С грустью искупаю химеры моей юности. Объятия Лелевеля кажутся мне суровее ссылки в Сибирь».

С другой стороны «защита» франкфуртского журнала, сообщавшего, что истинные взгляды Пушкина высказаны в «Клеветниках России» и что сам Пушкин вовсе не в ссылке, а «живет в Петербурге» и «его часто видят при дворе, причем он пользуется милостью и благоволением своего государя», — эта защита также не могла не раздражить Пушкина.

Характерно, что Пушкин ввел данный эпизод в свой «Журнал» безо всякого комментария. Характерно, что он вообще оставил его без «ответов», как предполагал первоначально<sup>1</sup>. Трудно сказать, почему этого не произошло, но, во всяком случае, ни в «Журнале», ни в другом месте Пушкин не нашел нужным протестовать против напоминаний о своем прошлом, не считал нужным отмежевываться от него и от Лелевеля<sup>2</sup>.

Группа записей, связанных так или иначе с 14 декабря, венчается замечательным разговором с великим князем.

---

<sup>1</sup> Переписка Пушкина, ред. В. И. Саятова, т. III, стр. 96.

<sup>2</sup> Быть может, в связи с данным эпизодом находится стихотворный набросок «Ты просвещением свой разум просветил».

Пушкин произносит: «Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много». Таким образом самый факт, что «новое возмущение» *будет*, для Пушкина не подлежит сомнению. Мысли о 14 декабря и в 1834 году непрестанно его волнуют. Вспомним также, что поэт именно в мае этого года с неизменной внимательностью заботится об официальной пересылке своих сочинений другу-декабристу В. К. Кюхельбекеру.

Большая группа записей подчеркивает в свою очередь, так сказать, «промахи» царя и его окружения. Кроме уже указанных, сюда надо отнести запись (14 апреля) о выборе в представительницы петербургского дворянства двух «неблагопристойных дам» и вывод, в котором чувствуется пренебрежительная гримаса Пушкина: «Надобно признаться что мы в благопристойности общественной не очень тверды».

Дважды порицает Пушкин указ, запрещающий русским подданным пребывать в чужих краях. Пушкин видит в нем «явное нарушение права, данного дворянству Петром III», а допущение исключений из этого указа, по его мнению, делает его «одной из бесчисленных пустых мер, принимаемых ежедневно к досаде благомыслящих людей и ко вреду правительства».

По поводу смерти князя Кочубея, которого Пушкин характеризует как «ничтожного человека», он рядом лаконично прибавляет: «Государь был неутешен». Даже больше: приведя презрительную эпиграмму на Кочубея и согласясь с нею, он вынужден тревожно прибавить: «но эпиграмму припишут мне, и правительство опять на меня надуется».

В записи 5 декабря он начинает «злословить» о том, что царь мало занимался старыми сенаторами, ухаживая более за молодыми княгинями, что царь ходит за кулисы, разговаривает на сцене с актрисами. Переодевание кн. Голицына ради должности полицейского сыщика вызывает восклицание Пушкина: «В каком веке мы живем!» По

поводу неожиданной суровости царя к новгородскому дворянству он лукаво замечает: «Оно перетрусилось и не знало за что (ни я)».

Близки по тону и записи 1835 года, где прямо в качестве «замечания для потомства» приведены сообщения о шутовских придворных переодеваниях и переодевании самого государя полковником. Это вызывает недвусмысленный комментарий: «Находят это все неприличным».

Новый припадок ярости со стороны Пушкина вызвала в 1834 г. история с распечатыванием почтой его письма к жене. Этот эпизод Пушкин внес целиком на страницы своего «Журнала» (10 мая). В перехваченном письме к Наталье Николаевне Пушкин непринужденно описывал церемонию присяги наследника (будущего Александра II) по поводу его совершеннолетия, указывая между прочим: «рапортуюсь больным и боюсь царя встретить. Все эти праздники просижу дома. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен: царствие его впереди, и мне, вероятно, его не видать», а о царе отзывался: «Упек меня в камер-пажи под старость лет». Отмечу кстати: в описании присяги, сделанном в «Дневнике» с чужих слов, любопытны у Пушкина такие фразы: «Многие плакали; а кто не плакал тот отирал сухие глаза, *силясь выжать несколько слез*». Выделенные мною слова приводят на память старое описание из «Бориса Годунова» торжественной сцены на Девичьем поле, где в народе происходит диалог:

Один.

Все плачут.  
Заплачем, брат, и мы.

Другой.

Я силюсь, брат,  
Да не могу.

Первый.

Я также, нет ли луку?  
Потрем глаза.

Второй.

Нет, я слюней помажу.

---

Как бы то ни было, письмо попало «в полицию и далее» вплоть до царя. «Свинство почты» возмутило поэта. Жене он горько пишет: «Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа с которым можно им поступать, как им угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у господа бога».

Повторяя последнюю фразу и в «Журнале», Пушкин прибавляет здесь несколько фраз, совершенно уже не похожих на робкие записи Данжо: «Однако, какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства. Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносят их читать к царю (человеку благопристойному и честному) и царь не стыдится в том признаться — и давать ход интриге достойной Видока и Булгарина. Что ни говори, мудрено быть самодержавным». Эти слова клеймят, и клеймят навсегда. Эвоповский язык разорван. Царь ставится в один ряд с сыщиком и доносчиком. Пушкин является перед потомками Пушкиным.

Нужно, однако, подчеркнуть, что в отзывах Пушкина о Николае Павловиче есть не только сплошная черная краска. Пушкин хочет быть беспристрастным. Он неоднократно, как честный дворянин, пытается увидеть царя честным джентльменом. Он отмечает, что замечания царя бывают дельными, что он «говорит очень хорошо, не смешивая обоих языков, не делая обыкновенных ошибок и употребляя настоящие выражения». Царь дает деньги



взаимы — Пушкин благодарит. Царь «просит в своем обращении, совершенно по домашнему» — Пушкин, видимо, не без удивления отмечает это. Но все эти довольно обыденные положительные качества словно только резче подчеркивают общую оценку: «Кто-то сказал о государе: в нем много от прапорщика и немного от Петра Великого»<sup>1</sup>. Здесь предвосхищена позднейшая характеристика, данная Николаю I А. И. Герценом: «самодержавный экспедитор» и «царь-фельдфебель» («Былое и думы»).

Исключительно интересна запись об открытии Александровской колонны, недостаточно расшифрованная до сих пор. Пушкин задолго до этого дня хотел бежать из Петербурга и, наконец, за 5 дней до открытия колонны уехал, «чтобы не присутствовать при церемонии вместе с камер-юнкерами — моими товарищами». Таким образом, внешне как будто бы в «Журнале» Пушкина момент «церемонии» отсутствует. Присмотримся, однако, к непосредственно следующей записи и увидим, что обе связаны органически, что Пушкин все же высказался о постановке «Александровского столпа».

Рассказав анекдот о пьяных ямщиках, полагающих, что столп поставлен им в честь, Пушкин неожиданно переходит, как будто невзначай, словно к совсем иной теме: «Гр. Румянцова вообще не хвалят за его памятник — и уверяют, что церковь была бы приличнее. Я довольно с этим согласен. Церковь, а при ней школа, полезнее колонны с орлом и с длинной надписью, которую безграмотный мужик наш даже еще не разберет». Так, говоря о другой колонне, в скрытой форме высказался Пушкин впервые о знаменитом столпе, которому два года спустя смело противопоставил памятник собственных дел с «главою непокорной», к которому «не зарастет народная тропа».

---

<sup>1</sup> П. Е. Щеголевым уже было замечено: «Этот кто-то — конечно, сам Пушкин («Пушкин о Николае I»).

Нельзя не отметить и сходства мнения о том, что «церковь и школа» были бы приличнее и полезнее, с черновиками «Путешествия в Арзерум», в которых Пушкин высказался о большей полезности для темных черкесов самовара, чем евангелия посылаемого «людям не знающим грамоты».

Известное место в «Журнале» занимают исторические записи, компрометирующие Екатерину II, но основная масса записей относится к современности и обнаруживает пошлость, нераспорядительность, продажность николаевского двора. Характерно, что в «Дневнике» Пушкин, таким образом, почти не останавливался на своих действительно «дневных», т. е. личных впечатлениях.

В этом отношении любопытно сравнить «Дневник» с материалами пушкинских писем к жене и друзьям за то же время, являющихся, собственно, подлинным дневником без всяких задних мыслей. Мучительный эпизод с попыткой Пушкина выйти в отставку, бежать от двора здесь встает во всей широте.

Этот случай находит особо яркое освещение в сохранившейся, к счастью, переписке Пушкина с Жуковским.<sup>1</sup> Последний взялся исправить «глупость», допущенную Пушкиным, взял на себя переговоры с царем и услышал, что можно еще взять отставку обратно. Жуковский поспешил сообщить об этом Пушкину, передав и красноречивую фразу-угрозу царя: «если он возьмет отставку, то между мною и им все кончено». При этом Жуковский пенял Пушкину, что тот действовал, не посоветовавшись с друзьями, убеждал Пушкина писать официальное письмо, в котором он должен «обвинить себя за сделанную глупость», и предупреждал, что иначе он повредит себе «на целую жизнь». Пушкин послушался.

Жуковский, пользуясь своим влиянием и по-своему желая Пушкину блага, снова остался недоволен сухостью

---

<sup>1</sup> Переписка Пушкина, т. III, стр. 142—149.

пушкинского письма с отказом от отставки. Сообщая о якобы благожелательном отношении царя к Пушкину, Жуковский требовал от поэта более сердечного тона. Ответ Пушкина Жуковскому — может быть, одно из самых трогательных и в то же время драматических писем Пушкина. Он писал здесь:... «Идти в отставку, когда того требуют обстоятельства, будущая судьба всего моего семейства, собственное мое спокойствие — какое тут преступление, какая неблагодарность? Но государь может видеть в этом — что-то похожее на то, чего понять все-таки не могу. В таком случае я не подаю в отставку и прошу оставить меня в службе. Теперь отчего письма мои сухи? Да зачем же быть им сопливыми? Во глубине сердца моего я чувствую себя правым перед государем, гнев его меня огорчает, но чем хуже положение мое, тем язык мой становится связаннее и холоднее. Что мне делать? Просить прощения? Хорошо, да в чем? к Бенкендорфу я явлюсь и объясню ему что у меня на сердце — но не знаю почему письма мои неприличны. Попробую написать третье».

Напуганный отлучением от архивов и угрозами испорченной жизни, Пушкин внял «нагоньям» Жуковского и «сухим абшидам» Бенкендорфа и только спрашивал жену: «А ты и рада, не так?»

В своем «Журнале» Пушкин, однако, ограничился одной глухой, совсем не дневникового характера записью: «22 июля. — Прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился я со двором, но все перемололось. — Однако это мне не пройдет».

Интересов литератора «Дневник» почти не отражает. Редкие записи о Гоголе и себе самом — случайны. К тому же запись о «Пиковой Даме» сделана для того, чтобы констатировать, что при дворе «не сердятся», запись о «Медном Всаднике», чтобы показать произвол того же «двора».

Стоит отметить кстати, что в «Дневнике» Бенкендорф

упоминается только нейтрально и всего два-три раза. Но любопытно, что, если в «Медном Всаднике» Пушкин собирался увековечить официально (в примечании) имена Бенкендорфа и Милорадовича, то последнего почти в то же время в «Дневнике» увековечил совсем иным способом, приведя эпиграмму, заканчивающуюся стихом:

И Милорадовича глупость.

Не можем здесь останавливаться на вскрытии подлинного смысла всех деталей «Дневника». Еще очень многое осмысляется в беглом чтении — проще, более невинно, чем имел в виду Пушкин. Раскройте хотя бы те места, где Пушкин говорит о двух пьесах: одна — «Enfants d'Edouard», другая — «Bertrand et Raton». На какие «применения» глухо намекает Пушкин? В первом случае имелась в виду возможность аналогий с убийством Павла I, во втором — намек на июльскую революцию.

## V

Анализ пушкинского «журнала» 1833—1835 гг. позволяет считать, что он менее всего должен рассматриваться как безобидный дневник, как беспристрастная придворная летопись, отмечающая, на каких балах и раутах бывал Пушкин.

Нет, если при первых публикациях «Дневника» в нем видели всего «дневник семейных городских происшествий» (П. В. Анненков) или «большую часть светские сплетни и ничего более» (В. В. Сиповский), то для нас Пушкин является в нем действительно «русским Данжо», разговаривающим через головы современников с потомками, которые будут иметь возможность и сумеют расшифровать иносказания и понять недосказанное. За скупыми строками, за лаконичными нотабенами — клокотанье живой, негодующей природы поэта.

Можно подумать, что Пушкин вспоминал своего «Бориса Годунова»:

Борис! Борис! все пред тобой трепещет...

А между тем, отшельник в темной келье

Здесь на тебя донос ужасный пишет:

И не уйдешь ты от суда мирского...

«Журнал» Пушкина — один из самых драгоценных, не вполне еще оцененных памятников николаевской эпохи, немногими, но верными штрихами рисующий ее царя, двор, духовенство, цензуру, крепостничество, лихоимство и разврат сановников, самоуправство государственных учреждений, голод крестьян — сквозь позолоту балов и торжеств.

«Журнал» Пушкина вместе с тем — несомненное свидетельство, что Пушкин даже конца 30-х годов во многом остается верным своему либерализму, своим старым взглядам и вовсе не переходит так безоговорочно и целиком, как это порою принято думать, на сторону реакции.

Характерно, что, если не считать записи о «с наглостию проповедуемом якобинизме (Московского Телеграфа)», вызванной личным раздражением Пушкина против Полевого, то нельзя указать в «Журнале» ничего, свидетельствующего об отходе Пушкина на консервативные позиции. Наоборот, подавляющее число его записей, если расшифровать их, бесспорно напоминает фронду юношеских лет, хоть и принявшую форму осторожного, зрелого (но потому и более глубокого) критицизма «русского Данжо».

Немудрено, что этот «Журнал» боязливо-долго хранился под спудом сначала современниками, потом сыном поэта и медленно просачивался в читательские массы по частям. Понятно, что он не сразу был понят...

«Журнал» за последующие годы, несомненно продолжавшийся Пушкиным, прояснил бы еще очень многое.

Слышите ли меня? — словно спросил столетие назад страдавший поэт у будущих поколений.

Слышим.

## «КИРДЖАЛИ»

«Кирджали» назван Пушкиным в подзаголовке *повестью*. Однако, ни по объему, ни по литературным особенностям «Кирджали» по нашим современным представлениям повестью не является. Несколько эпизодов из восстания этеристов, несколько приключений главного героя образуют материал этого произведения, которое может быть воспринято как «случайное» в развитии пушкинского творчества.

Впечатление «случайности» появления «Кирджали» усиливается тем обстоятельством, что тематически этот отрывок никак не характерен для Пушкина 1834 года. В «Кирджали» Пушкин вновь возвращается на 13 лет назад, к своим кишиневским интересам, к своему почти юношескому, байроническому увлечению национальной революцией народов Ближнего Востока.

Нам нет необходимости углубляться к сложные перипетии исторических событий 1821 года на Балканах. В немногих работах, посвященных вопросу о личности Кирджали, читатель может найти общую характеристику этой эпохи и ее героев. «Это были последние раскаты того политического и военного урагана, который носился над Европой с 1789 года, создал французскую революцию, создал Наполеона, крушил и восстанавливал троны и закончился мертвящей реакцией, возглавляемой „Священным Союзом“» (В. Язвицкий<sup>1</sup>). В балканском движении 1821

---

<sup>1</sup> В. Язвицкий. Кто был Кирджали, герой повести Пушкина. «Голос Минувшего». 1919. № 1—4, стр. 45—60.

года смешивались самые различные национальные и социально-политические революционные стремления. Так например греческая этерия<sup>1</sup> под руководством Каподистрии и Ипсиланти боролась исключительно против турецкой власти за национальную и государственную независимость Греции. Иной характер имело движение в Румынии, вождем которого был Владимиреско, происходивший — в противоположность высоко аристократическим греческим вождям — из мелкого румынского дворянства.

Для Владимиреско национальные интересы не имели большого значения. Предводимое им движение носило характер крестьянского восстания против ненавистных румынским и греческим народным массам фанариотов (греческих князей, вассалов Турции) и бояр. Различие стремлений Владимиреско и Ипсиланти привело к разрыву между вождями. В. Язвицкий отмечает неправильную оценку, данную Пушкиным Владимиреско<sup>2</sup>, объясняя это тем, что поэт был полностью увлечен греческой этерией.

Увлечение это было, действительно, сильным и глубоким, хотя и непродолжительным. Так, в письме к В. Л. Давыдову (?) из Кишинева (май 1821 г.) Пушкин восторженно излагает события начала восстания и дает им свою оценку: «Странная картина! Два великие народа, давно падших в презрительное ничтожество, в одно время восстают [от долгого усыпления] из праха — и возобновленные, являются на политическом поприще мира<sup>3</sup>. Первый шаг Ипсиланти прекрасен и блистателен. Он счастливо на-

<sup>1</sup> Этерия — тайное общество, ставившее своей целью освобождение Греции от турецкого владычества.

<sup>2</sup> «С крайним сожалением узнал я, что Владимиреско не имеет другого достоинства, кроме храбрости необдуманной — храбрости достаточно и у Ипсиланти» («Остатки из Кишиневского дневника» — Пушкин, собр. соч. под ред. С. А. Венгерова, т. V, стр. 431).

<sup>3</sup> Греки и итальянцы, у которых тогда происходило карбонарское движение (примечание П. А. Ефремова — собр. соч. Пушкина изд. А. С. Суворина 1903, т. VII, стр. 30).

чал — 28 лет, оторванная рука, цель великодушная! и отныне и мертвый или победитель он принадлежит истории<sup>1</sup>...»

В поэтическом творчестве Пушкина греческое восстание нашло отклик в стихах «Война» (1821), в послании В. Л. Давыдову (1821), в наброске «Восстань, о Греция, восстань» (точная датировка которого не установлена) и т. д.

Но идут годы — и отношение Пушкина к этерии меняется. В черновике письма к В. Л. Давыдову (?) (Одесса, середина 1824 г.) Пушкин уже «принужден оправдываться» в каких-то своих высказываниях по поводу балканских событий. Пушкин не хочет, чтобы его считали «врагом освобождающейся Греции», но общий тон этого неоконченного письма говорит все же о некотором скептицизме поэта по отношению к этерии.

Вполне определенно и совершенно уничтожающе звучат одновременные с этим письмом высказывания Пушкина на ту же тему (лето 1824 г.) в письме к П. А. Вяземскому:

«Греция мне огадила. О судьбе греков позволено рассуждать как о судьбе моей братьи негров; [и] можно тем и другим желать освобождения от рабства нестерпимого; но чтобы все просвещенные европейские народы бредили Грецией — это непростительное ребячество. Иезуиты натолковали нам о Фемистокле и Перикле, а мы вообразили, что пакостный народ состоящий из разбойников и лавошников есть законнорожденный их потомок и наследник их школьной славы<sup>2</sup>...»

Таковы в кратких чертах основные этапы отношения Пушкина к балканскому движению 1824 года. В «Кирджали» нет, однако, следов ни первоначальной юношеской восторженности, с которой Пушкин встретил события, ни

<sup>1</sup> Пушкин. Письма. Ред. Б. Л. Модзалевского. ГИЗ. 1926, т. I, стр. 21.

<sup>2</sup> Пушкин. Письма, то же изд. т. I, стр. 85.



позднее наступившего разочарования. Касаясь некоторых лиц и событий 1821 года, Пушкин говорит о них в «Кирджали» с эпически-спокойной объективностью историка:

«Александр Ипсиланти<sup>1</sup> был лично храбр, но не имел свойств нужных для роли, за которую взялся так горячо и так неосторожно. Он не умел сладить с людьми, которыми принужден был предводительствовать. Они не имели к нему ни уважения, ни доверенности. После несчастного сражения, где погиб цвет греческого юношества, Иордаки Олимбиоти присоветовал ему удалиться, и сам заступил его место. Ипсиланти ускакал к границам Австрии и оттуда послал свое проклятие людям, которых называл ослушниками, трусами и негодьями. Эти трусы и негодяи, большею частью, погибли в стенах монастыря Секу или на берегах Прута, отчаянно защищаясь против неприятеля вдесятеро сильнее».

Помимо чисто политического интереса, греческое движение с самого его возникновения привлекало Пушкина и как материал для литературной работы. Мы упоминали выше о непосредственных лирических откликах Пушкина на события 1821 г. Но не менее, чем революционный пафос восстания, интересовала поэта сама «экзотика» событий, их авантюрно-героическая сторона вместе с пестрым бытовым материалом. В Бессарабских воспоминаниях А. Ф. Вельмана<sup>2</sup> и в статье А. И. Яцимирского «Пушкин в Бессарабии»<sup>3</sup> можно прочесть о романтически-азиатском Кишиневе двадцатых годов, где «на

<sup>1</sup> По мнению В. Селинова эта характеристика Ипсиланти могла уже находиться в недошедших до нас листах Кишиневского дневника (В. Селинов. Пушкин и греческое восстание. — Пушкин, статьи и материалы под ред. М. П. Алексева. Одесса. 1926, стр. 5).

Образ Ипсиланти («безрукий князь») был намечен Пушкиным также в X главе «Евгения Онегина» (1830 г.) — как известно, сожженной поэтом и дошедшей до нас лишь в виде шифрованных отрывков.

<sup>2</sup> См. А. Майков. — Пушкин. СПб 1899, стр. 92—136.

<sup>3</sup> Пушкин под ред. С. А. Венгерова т. II, стр. 158.

каждом шагу загорался разговор о делах греческих». Где бы Пушкин ни находился, везде и всегда он глубоко проникал в «местный колорит» страны. И кишиневский период жизни поэта отмечен не только легкомысленно-шутливыми «греческими бреднями», но и серьезным интересом Пушкина к Бессарабии и ко всему Ближнему Востоку. Достаточно только напомнить о «Цыганах».

Яркие образы разноплеменных балканских удалцов, мелькнувшие перед ним (Пушкиным) в Бессарабии, никогда не покидали его впоследствии», — говорит Л. Майков, продолжая далее: «Любопытно, что самая выработка прозаической повествовательной формы связывается у Пушкина с рассказами об этих людях: нас поражает изумительное совершенство ее в сжатом, но картинном повествовании о Кирджали, написанном в пору высшего развития Пушкинского творчества; а за десять лет перед тем, в 1824 году, гениальный автор этой повести, записывая в Одессе воспоминания этеристов Дуки и Пендедеки, еще затруднялся их изложением и жаловался Липранди: „С прозой — беда! Хочу попробовать этот первый опыт“<sup>1</sup>. Попыткой своею Пушкин остался тогда не вполне доволен; потому, вероятно, она и не сохранилась в его бумагах»<sup>2</sup>.

Здесь мы подходим к вопросу о непосредственных источниках «Кирджали». Известно, что основной материал о герое этого рассказа был получен Пушкиным от М. И. Лекса, служившего в Кишиневе в канцелярии генерала И. Н. Инзова. Пушкин прямо указывает на источник «Кирджали» в следующих словах рассказа: «Человек с умом и сердцем, в то время неизвестный молодой чиновник, ныне занимающий важное место, живо описывал мне его (Кирджали И. О.) отъезд». К 1821 году относится

---

<sup>1</sup> Русский Архив. 1866 г., ст. 1410 (примечание Л. Майкова)

<sup>2</sup> Л. Майков, указ. соч. стр. 134.

также недавно опубликованный впервые (Б. Томашевским) стихотворный набросок Пушкина «Чиновник и поэт»<sup>1</sup>.

В этом отрывке, казалось бы случайном и неожиданным в кругу лирических и гражданских стихов Пушкина начала двадцатых годов, характерны прежде всего живописные бытовые детали:

[*Чиновник и поэт*]

«Куда вы? за город, конечно,  
Зефиром утренним дышать  
И с вашей музою мечтать  
Уединенно [и] беспечно?»  
«Нет, я собираюсь на базар,  
Люблю базарное волнение,  
Скуфьи жидов, усы болгар  
И спор, и [крик], и торга жар,  
Нарядов пестрое стеснение.  
Люблю толпу, лохмотья, шум  
И жадной черни — свободной».  
«Так — наблюдаете? — ваш ум  
И здесь вникает в дух народной.  
Сопровождать вас рад бы я,  
Чтоб слышать ваши замечанья,  
Но службы долг зовет меня,  
Простите, [нам] не до гулянья».  
«Куда ж?»

«В острог. Сегодня мы  
Выпровождаем из тюрьмы  
[По просьбе] [Паше]  
За молдаванскую границу]  
[Кирджали]».

Эпический замысел, легший в основу отрывка, не соответствует заглавию («Чиновник и поэт»), — впрочем, зачеркнутому Пушкиным уже в этом наброске. Все догадки о том, почему Пушкин не разработал тему Кирджали в форме поэмы, могут быть только произвольными. Можно лишь отметить известную близость приведенного нами

<sup>1</sup> «Звезда» 1930, № 7. См. также полн. собр. соч. Пушкина — ГИХЛ, 1931, т. I, стр. 453.

черновика к некоторым строфам «Братьев-разбойников» и «Цыган» с их этнографическими описаниями.

В 1828 г. Пушкин сделал вновь попытку вернуться к теме Кирджали в другом стихотворном черновике, связь которого с этой темой определяется самым заглавием:

*Кирджали*<sup>1</sup>.

В степях зеленых Буджака,  
Где Прут, [заветная] река.  
Обходит русские владенья,  
При [бедном] устье ручейка  
Стоит безвестное селенье.  
Семействами болгары тут  
[В убогой дикости] живут,  
Храня родительские нравы,  
Питаюсь ..... трудом,  
И не заботятся о том,  
Как ратоборствуют державы  
И грозно правят их судьбой.

В двух последних стихах этого отрывка содержится намек на дальнейшее развитие темы в сторону событий 1821 года. Несомненно, что и этот набросок является началом неосуществившейся поэмы о Кирджали. Тема эта, как видно, на протяжении ряда лет время от времени возникала в уме поэта.

Н. О. Лернер в примечании к этим стихам<sup>2</sup> связывает их появление с законченной незадолго перед ними «Полтавой»: «„Полтава“, в эпилоге которой упоминается последняя борьба Карла XII „в стране, где мельниц ряд крылатый оградой мирной обступил Бендер пустынные раскаты“ — возродила в Пушкине воспоминание о Бессарабии. Буджак (по татарски — угол), часть Бессарабии, лежащая между Прутом и Днестром, был хорошо знаком Пушкину. В „Цыганах“ старик вспоминает о тех временах, когда „правил Буджаком паша с высоких башен

<sup>1</sup> Цит. по собр. соч. Пушкина изд. ГИХЛ, 1931. Т. II, стр. 226.

<sup>2</sup> Пушкин под ред. С. А. Венгерова т. V, стр. XXIII.

Аккермана“. Сам поэт два раза путешествовал по Буджаку...»

Пушкиным было сделано несколько набросков плана — повидимому, различных произведений на одну тему о кишиневском периоде и греческой революции. Но это, вернее всего, планы исторической хроники или мемуарных записок. Приводим один из таких набросков (опубликованный П. О. Морозовым), начинающийся именем Кирджали:

«Кирджали. Эмигранты. Stenka. Скулянская битва. Кантакузен, perdu... Хорчевский, Навроцкий. Битва. Арнаты в Кишиневе»<sup>1</sup>.

Почему ни один из этих задуманных Пушкиным прозаических опытов не был осуществлен в начале двадцатых годов? Вероятно, по тем же причинам, в силу которых Пушкин приступил к «смирненной» и «презренной» прозе лишь несколькими годами позднее. Можно поверить приведенному нами выше свидетельству Липранди: еще и в 1824 году Пушкину было «с прозой — беда!»

Пушкин-прозаик начался стремительно и блестяще в 1827-1828 г. г. «Арапом Петра». К теме Кирджали Пушкин подошел уже зрелым мастером прозы, автором «Повестей Белкина», «Дубровского», «Пиковой Дамы». Были и внешние поводы, оживившие в уме поэта кишиневские воспоминания в Петербурге 1834 года: это — встречи Пушкина с бывшим молдавским господарем, князем Михаилом Суццо (в ноябре 1833 г.) и с прежним кишиневским «чиновником» Лексом.

Мы исходим из наиболее достоверного предположения, что «Кирджали» был написан в течение 1834 года (вероятно первой половины года, т. к. к 1 декабря рассказ был уже напечатан в «Библиотеке для чтения» т. VII). Однако, точной датировки рассказа мы до сих пор не имеем. По-

<sup>1</sup> Соч. Пушкина под ред. П. О. Морозова, т. VII. СПб. 1909, см. стр. 45.

этому возможны, конечно, гипотезы и о более раннем (черновом) создании «Кирджали», тем более, что замысел рассказа или вернее тема его относится, как мы видели, к двадцатым годам<sup>1</sup>.

Кто же был Кирджали? И почему эта личность заслужила внимание Пушкина?

Рассказ о Кирджали начинается так: «Кирджали был родом болгар. Кирджали на турецком языке значит: витязь, удалец. Настоящего его имени я не знаю».

В. Язвицкий в цитированной нами выше работе подтверждает, что имя «Кирджали» не есть имя собственное, хотя дает иные толкования этого слова. Такое прозвание носили вожди балканских партизан (а иногда и партизаны-одиночки). Повстанческое движение на Балканах возникло еще до этерии — об этом мы читаем и у Пушкина:

«Кирджали своими разбоями наводил ужас на всю Молдавию. Когда Александр Ипсиланти обнародовал возмущение и начал набирать себе войско, Кирджали привел к нему несколько старых своих товарищей. Настоящая цель этерии была им худо известна, но война представляла случай обогатиться на счет турок, а может быть и молдаван — и это казалось им очевидно».

Здесь Пушкин, повидимому, упрощает мотивы действий Кирджали. История балканского движения сохранила

<sup>1</sup> В. А. Мануйлов сообщил нам свое предположение, что «Кирджали» является *первой* прозой Пушкина, носящей те романтические черты, которыми должны были бы отличаться первые прозаические опыты поэта (до нас не дошедшие). Как ни интересна и увлекательна подобная гипотеза, все же для нее имеется слишком мало оснований. Романтический образ «разбойника» Кирджали (см. ниже) мог возникнуть у Пушкина и в 1834 году как своеобразный отголосок кишиневских впечатлений, но возможно также, что цензура не давала возможности придать иную трактовку фигуре балканского партизана (ср. нашу параллель между «Кирджали» и «Дубровским» в конце статьи). Художественные особенности «Кирджали» в целом говорят за то, что рассказ написан уже Пушкиным-историком, т. е. относится именно к 1834 г.

имя одного из «воевод», послужившего прототипом для пушкинского героя. Исследователь вопроса о Кирджали — В. Язвицкий устанавливает, что «Георгий Кирджали, родом болгарин, был видным участником в восстании этеристов, сражался у Прута, был выдан русскими и бежал из-под ареста при помощи ловкой выдумки о кладах, и, наконец, что французские и румынские историки, прусские консулы, Садык-паша (Чайковский) <sup>1</sup> и Пушкин говорят об одном и том же лице». Таким образом подтверждается достоверность материалов, имевшихся в распоряжении Пушкина, и опровергаются возражения Липранди, считавшего значительную часть рассказа о Кирджали «анекдотом» <sup>2</sup>. Но на основании данных В. Язвицкого выясняется также, что исторический Кирджали не был повидимому заурядным бандитом, преследовавшим цель наживы. Есть сведения, что в поведении Кирджали значительная роль принадлежала мотивам национального мщения и социального протеста. Болгарин Кирджали был беспощаден к туркам и их агентам — болгарским торговцам и хуторянам.

Пушкин в сущности прошел мимо этих черт подлинного Кирджали. Правда, в рассказе отмечена лояльность героя по отношению к русским и его бескорыстие в боевой обстановке — своеобразная честность романтического разбойника: С тех пор, как я перешел за Прут, я не тронул ни волоса чужого добра, не обидел и последнего цыгана. Для турков, для молдаван, для валахов я конечно разбойник, но для русских я гость. Когда Сафьянос, расстреляв всю свою картечь, пришел к нам в карантин, отбирая у раненых для последних зарядов пуговицы, гвозди, цепочки и набалдашники с атаганов, я

---

<sup>1</sup> Польский эмигрант на турецкой службе, автор романа «Кирджали».

<sup>2</sup> Липранди указывал на искажения собственных имен и некоторые исторические неточности и пропуски в пушкинском рассказе, приводя вместе с тем свою версию побега Кирджали.

отдал ему двадцать бешлыков и остался без денег. Бог видит, что я, Кирджали, жил подаянием! За что же русские выдают меня моим врагам?»

Кирджали для Пушкина — «разбойник», — разбойник романтический может быть не столько по мотивам и целям своих поступков, сколько в плане авантюрном. Традиционный образ «благородного злодея» в пушкинском рассказе оживлен некоторыми реалистическими чертами. Пушкин «любуется» своим героем, его разбойничьей честностью и хитростью. Отсюда, от этой «привязанности» автора к герою, выпад Пушкина против «начальства, не обязанного смотреть на разбойников с их романтической стороны», и лукавый вопрос читателю — «каков Кирджали?» — в концовке рассказа, тотчас после описания последних «подвигов» героя.

Именно в плане любования автора авантюрными чертами героя находится подробное описание побега Кирджали. Этот эпизод, как показывают исследования, является преданием, выросшим на определенном историческом факте. Пушкинский рассказ построен так, что все предыдущее повествование является как бы введением к эпизоду побега, в котором рассказ приобретает настоящее сюжетное движение и драматизм.

В. И. Селинов<sup>1</sup> указывает, что арест Кирджали и выдача его молдавскому правительству в действительности имели место в первой половине 1823 года, а потому и легенда о побеге Кирджали не могла сложиться ранее этого года, тогда как у Пушкина все эти события отнесены к 1821 году. На основании этого хронологического сдвига и по некоторым другим соображениям Селинов приходит к заключению, что «Кирджали» — не историческая хроника, а повесть, не отрывок, а законченное

---

<sup>1</sup> В. И. Селинов. До питання про джерела повісті Пушкина «Кирджали». — Записки Іст.-Філол. Від. кн. XIII—XIV.



художественное произведение<sup>1</sup>. Свои выводы Селинов противопоставляет мнениям П. В. Анненкова, считавшего «Кирджали» «отрывком из записок», и П. И. Бартенева, называвшего пушкинский рассказ «статьей»<sup>2</sup>.

Бартнев говорил, что «Кирджали» содержит «любопытнейшие подробности, собранные и записанные, очевидно, из первых рук». По его же словам, описание сражения под Скулянами «имеет все достоинства подлинной исторической записки».

Мы уже видели, что Пушкин в рассказе о Кирджали был в общем верен основным историческим фактам. Исторический материал подвергся в «Кирджали» той обработке и тем смещениям, которые неизбежны в любой художественной хронике событий, в художественном очерке, в зависимости от «угла зрения», от социальных позиций автора.

Однако, вопрос о жанре «Кирджали» должен, как мы полагаем, решаться не столько на основании исторической точности материала, сколько путем анализа *художественных особенностей* произведения.

С этой стороны «Кирджали» еще совершенно не изучен. Между тем художественные особенности этого рассказа выделяют его на особое место среди других пушкинских повестей и новелл.

Необычна композиция «Кирджали» — спокойное и плавное изложение событий, действительно имеющее характер исторической хроники, однако оживленное многими быто-

<sup>1</sup> Ю. Н. Тынянов в своей книге «Архаисты и новаторы» («Прибой» Л. 1929) на стр. 286 приводит мнение Ю. Г. Оксмана (вполне соглашаясь с ним), что «Кирджали» является отрывком или «программой большого произведения». К этому Тынянов добавляет, что пушкинские черновые программы иногда становились «чистой прозой».

<sup>2</sup> Характерно, что в собрании сочинений Пушкина под редакцией П. О. Морозова «Кирджали» помещен в томе VII, содержащем «сочинения и заметки исторического содержания» («История Пугачевского бунта» и др.).

выми деталями, «местным колоритом» и порою — юмором автора. Мы встречаем здесь такие подробности, как арнауты «в кофейнях полутурецкой Бессарабии, с длинными чубуками во рту, прихлебывающие кофейную гущу из маленьких чашечек», одетые в «узорные куртки и красные восточные туфли», с «атаганами и пистолетами», торчащими «из-за широких поясов». С этой экзотикой контрастирует комическая фигура чиновника — «краснорожего старичка», который «прищемил оловянными очками багровую шишку, заменявшую у него нос»...

Следует также отметить ту любопытную особенность рассказа, что в нем нет ни одного женского образа, ни одной героини, хотя бы на второстепенной роли. И в этом отношении «Кирджали» является произведением своеобразным и выделяющимся среди всей пушкинской прозы. В отсутствии героини — оригинальность «Кирджали», но с этой же чертой связана, повидимому, *бессюжетность* рассказа или, вернее, его значительной части, подводящей читателя к отмеченному нами выше драматическому эпизоду побега Кирджали.

Но этот эпизод представляет собою композиционно как бы самостоятельную вставную новеллу.

Можно предположить, что «Кирджали» был задуман в виде исторического («партизанского») очерка и лишь в процессе работы приобрел свои художественные черты, ставящие это произведение где-то посредине между историческими работами Пушкина и его художественной (в тесном смысле слова) прозой. Отсутствие рукописи и других материалов не дает возможности выяснить этот вопрос.

Однако, эпическая интонация первых страниц «Кирджали», в частности описание битвы под Скулянами явно родственны стилю исторических опытов Пушкина — напр. «Истории Пугачева», писавшейся одновременно с «Кирджали». Экзотическая же и бытовая «расцветка» рассказа придает последнему характер *художественного очерка*.

Именно это определение следует, повидимому, принять за основу при изучении «Кирджали».

Приведенные нами соображения, конечно, только намечают пути к дальнейшему исследованию этого произведения<sup>1</sup>, особенно интересного для нас в связи с современной постановкой вопросов очеркового жанра.

Покойный М. Н. Покровский в своей замечательной статье «Пушкин-историк»<sup>2</sup> сопоставляет пушкинские образы „бунтовщиков“ — Пугачева, Дубровского и Кирджали.

«Идеализация Пугачева и казачества, — пишет М. Н. Покровский, — есть лишь частный случай идеализации всего, что встает против *централизации* и *чиновничества*: идеалом Пушкина был феодальный режим, „смягченный просвещением“; предметом его ненависти — бюрократическая монархия. Чтобы понять его исторические симпатии и антипатии, нужно взять две его чисто художественные вещи: во-первых, „Дубровского“, вся трагедия которого вытекла из коллизии с бюрократическим строем, во-вторых, „Кирджали“. На этих двух персонажах — одном совсем фантастическом, но „своем“ однословнике, дворянине, бывшем гвардейце, другом — полуреальном, но иностранце — меньше тяготел гнет цензуры. Кирджали мог убивать турецких полицейских — ведь это же были нехристи, неверные. Дубровский мог сжечь „приказных“, оттягавших у его отца имение... А попробуйте представить себе в виде героя крепостного мужика, который жжет барскую усадьбу?».

Кирджали — один из любимых героев Пушкина. За это говорит и та настойчивость, с которой образ этого «разбойника» возвращался к Пушкину на протяжении многих лет. И все же как мы видели выше, фигура Кирджали оказалась в пушкинском очерке своеобразно

<sup>1</sup> Приношу свою благодарность Д. П. Якубовичу и Н. О. Лернеру за некоторые литературные и иные указания.

<sup>2</sup> *Пушкин*. Полное собр. соч. ГИХЛ, 1933, т. V, кн. 1.

деформированной. При всей любви к своему герою, Пушкин не мог не отнести к нему несколько свысока, как к представителю иного, чуждого поэту класса. Признавая за Кирджали его личные достоинства, Пушкин все же видел в нем одного из вождей бунтующей «черни».

И потому, стремясь к идеализации своего героя, Пушкин только углубил традиционные романтические черты «благородного разбойника». Тем самым пушкинский Кирджали оказался художественно «обезвреженным», лишенным той глубины и социальной остроты, которая свойственна другому пушкинскому романтическому «разбойнику» — Дубровскому. Дворянин Дубровский мог явиться мстителем за поруганную «справедливость», в его поступках могли быть те «высокие» мотивы, в которых поэт отказывал Кирджали.

Конечно, тут следует учесть также все различия материала этих произведений и цензурные условия. Пушкин был повидимому заинтересован в быстром напечатании «Кирджали» (который появился в «Библиотеке для чтения» 1 декабря 1834 г., т. е. в год написания рассказа), а «Дубровский» так и не увидел света при жизни автора и остался не законченным.

---

М. Цявловский

«ОН МЕЖДУ НАМИ ЖИЛ...»

(По поводу статьи В. Ледницкого)

Дружба Пушкина с Мицкевичем — не только значительнейший факт в жизни великих поэтов, но и крупное событие в истории русско-польских отношений. Понятен поэтому тот интерес, который с давних пор проявляли к истории взаимоотношений поэтов и русские и польские исследователи. Для последних, по свидетельству В. Ледницкого, тема эта в течение долгого времени была единственной «дорогой в Россию», по которой они отваживались пускаться. И нужно признать, что эти «путешествия» иностранцев дали, пожалуй, больше, чем работы русских ученых.

Со статьей Вацлава Ледницкого, не только подводящей итоги русских и польских изысканий по данному вопросу, но и заключающей в себе ряд новых интересных и ценных наблюдений и выводов, мне хотелось бы познакомить русских читателей.

Работа В. Ледницкого, первоначально в виде брошюры напечатанная в 1924 г. под заглавием «Несколько слов о Пушкине и Мицкевиче»,<sup>1</sup> в переработанном и дополненном виде под заглавием «Из истории дружбы поэтов»<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Wacław Lednicki*. «O Puszkynie i Mickiewiczu słów kilka». Kraków. 1924. Krakowska spółka wydawnicza, 48 стр.

<sup>2</sup> «Z historii poetyckiej przyjaźni», стр. 162—225.

вошла в сборник статьей автора «Александр Пушкин»<sup>1</sup>. Здесь статья заключает в себе три главы: «Стихотворение Пушкина, обращенное к Мицкевичу», «Томик Байрона» и «Пушкин — ходатай за Мицкевича». В дальнейшем я буду говорить лишь о первой главе исследования Ледницкого, посвященной стихотворению «Он между нам жил...» Глава эта написана по поводу публикации М. Л. Гофманом в парижском сборнике «Окно» (т. III, 1924) текста стихотворения по рукописи, принадлежавшей в к. Константину Константиновичу и ныне хранящейся в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) Академии Наук Союза ССР. Опубликованный здесь текст не является новостью. Тот же Гофман по этой же рукописи напечатал текст стихотворения в 1922 г. в XXXIII—XXXV выпуске издания «Пушкин и его современники»<sup>2</sup>. Обе публикации текста исследователь сопроводил одними и теми же комментариями, в которых доказывал, что Жуковский, публикуя по этой же рукописи стихотворение в посмертном издании, исказил текст Пушкина, желая очернить в большей степени, чем это сделал Пушкин, польского поэта. «Очищая» текст стихотворения от искажений, внесенных Жуковским, Гофман восстанавливает «канон» его в своих публикациях по-разному. Различие это относится к последним двум стихам. В 1922 г. эти стихи Гофман напечатал в таком виде:

Знакомый голосъ!.. [Боже низпошли  
Твой миръ въ его] озлобленную [душу].

Wacław Lednicki. «Aleksander Puszkina. Studja». Kraków 1924. Nakładem Krakowskiej spółki wydawniczej. 410 стр. В книгу В. Ледницкого, кроме названной статьи, входят еще шесть: Предисловие, «Судьбы Пушкина в идеологии русского общества», «Об антипольской лирической трилогии Пушкина», «Пушкин и Мария Волконская» (Творчество поэта в свете его «единственной» любви), «Поэзия брака и очага» и «Поэтическое хозяйство Пушкина».

<sup>2</sup> См. М. Л. Гофман. «Посмертные стихотворения Пушкина 1833 — 1836 гг.», стр. 367—371.

а в 1924 г. в таком:

Знакомый голос!.. Боже! низпошли  
Твой миръ въ его встревоженную душу.

Утверждение Гофмана, что Жуковский, печатая стихотворение Пушкина, усилил его выпады против Мицкевича и тем искажил намерение поэта, и, в частности, аргументация в защиту «второго варианта» («встревоженную» вместо «озлобленную» душу) «канона» и послужили поводом Ледницкому написать очень содержательную, интересную статью, далеко выходящую за пределы оценки устанавливаемого Гофманом «канонического» текста стихотворения. Но, прежде чем перейти к статье Ледницкого, считаю нужным, с своей стороны, высказаться по существу о предлагаемом Гофманом «каноне». Оба его «варианта» следует признать в корне неверными.

В транскрипции текст стихотворения в рукописи, опубликованной М. Л. Гофманом, читается так:

Онъ между нами жилъ  
[изгнанником]<sup>1</sup> ему чужомъ<sup>2</sup>  
Средь племени враждебнаго:] но злобы  
.....

Въ душѣ своей къ намъ не питаль, и мы  
Его любили: Мирный, благосклонный  
Онъ посѣщаль бесѣды наши. Съ нимъ  
ИСТЫМИ  
Дѣлились мы и ч[ашей] [и] мечтами  
И пѣснями (онъ вдохновенъ былъ свыше  
съ высока  
И [глубоко] взираль на жизнь). Нерѣдко  
Онъ говорилъ о временахъ грядущихъ  
Когда народы, разпри позабывъ,

---

<sup>1</sup> Зачеркнуто карандашом.

<sup>2</sup> Написано карандашом.

\*

Въ великую семью соединятся.  
поэта [И]  
Мы жадно слушали [его]. [Но] онъ [оть насъ]  
Ушелъ на Западъ — и благословеньемъ  
Его Но [И]  
Мы проводили — [Что жъ?] — теперь  
[и злобой]  
[онъ]  
Нашъ мирный гость намъ сталъ врагомъ — [и]  
[нынѣ]  
[Проклятiя намъ шлетъ и жгушимъ ядомъ]  
и ядомъ  
Стихи свои, въ угоду черни буйной  
Онъ напояетъ — Издали до насъ<sup>1</sup>  
злбнаго  
[падшаго]  
Доходить голосъ [гнѣвнѣго] поэта.  
[Тревожный] [сво]<sup>2</sup>  
[Знакомый] голосъ!.. Боже! [низпошли] освяти  
.....  
[встревоженную]  
[Твой миръ въ его [озлобленную] [душу]  
.....  
[Твоей<sup>3</sup> правдой]  
[Его<sup>4</sup> душѣ прекрасной]  
въ немъ сердце правдою твоей  
и миромъ —  
И возврати ему н

10 Авг.

1834

С. П. Б.

<sup>1</sup> В слове «насъ» «н» переделано из «д».

<sup>2</sup> М. Л. Гофман («Пушкин и его современника», 1922, в. XXXIII — XXXV, стр. 369, прим. 5) читает «слово», но последней буквы нет в рукописи.

<sup>3</sup> Описка, вместо: «Твоею».

<sup>4</sup> «е» переправлено в «Е».



Прежде всего нужно отметить, что весь основной текст рукописи — текст перебеленный, дающий полную, законченную редакцию стихотворения. В таком виде стихотворение было записано 10 августа 1834 г. Как видно из транскрипции, в этой редакции последние два стиха первоначально читались:

Знакомый голось!.. Боже! низпошли  
Твой миръ въ его озлобленную душу.

Спустя некоторое время Пушкин переработал текст. Переработка эта не была закончена, и потому, устанавливая канон, можно поступить двояко: или напечатать законченную, первую редакцию, даваемую этой рукописью, или принять во внимание переделки Пушкина. В последнем случае приведенные стихи нужно печатать, конечно, только так:

Знакомый голось!.. Боже, освяти  
Въ немъ сердце правдою твоею и миромъ.

Между тем, это единственное правильное чтение Гофман, явно злоупотребляя термином, называет «интерполяцией»<sup>1</sup>. Итак, вопрос может идти только о том, вводить или не вводить в стихотворение последние полстиха: «И возврати ему». Б. В. Томашевский во всех пяти ленинградских изданиях однотомного собрания сочинений Пушкина этих слов не вводит, ставя после слова «миром» точку; я в издании полного собрания сочинений Пушкина, выпущенном в качестве приложения к журналу «Красная нива», и в гихловском пятитомнике ввожу это полустихие. Кто из нас прав, считаю вопросом схоластическим, но «развертывать» этот недописанный стих в полный, как это делает Гофман, предлагая чтение:

И возврати ему незлобивую душу.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> См. указанную публикацию Гофмана 1922 г., прим. на стр. 368 — 369.

<sup>2</sup> Там же, стр. 369.

нельзя уже по одному тому, что в этом стихе шесть стоп, чего нет ни в одном стихе стихотворения.

Ледницкий в своей критике «второго варианта» гофманского «канона», справедливо доказывая всю произвольность введения в него слова «встревоженную», не принял во внимание стиха: «В нем сердце правдою твоей и миром», отменяющего и «озлобленную» душу, чтение, которое отстаивает польский исследователь. Но это обстоятельство ни в какой мере не умаляет большого значения работы Ледницкого. Значение ее не только в том, что она опровергает легкомысленные, необоснованные утверждения Гофмана, а в том, главным образом, что одинаково хорошо осведомленный в литературе вопроса как на польском, так и на русском языках, Ледницкий дает интерпретацию стихотворения на фоне широко развернутой истории взаимоотношений Пушкина и Мицкевича.

На основе этих данных Ледницкий устанавливает связь, с одной стороны, между брошюрой «На взятие Варшавы», в которой были напечатаны антипольские стихотворения Пушкина («Клеветникам России» и «Бородинская годовщина») и Жуковского («Старая песня на новый лад»), и стихотворением Мицкевича «К русским друзьям», с другой стороны — связь между этим стихотворением и стихотворением Пушкина «Он между нами жил».

Спорный до последнего времени вопрос о том, является ли стихотворение Мицкевича ответом на брошюру русских поэтов, решается Ледницким весьма убедительно в положительном смысле.

Указанная брошюра со стихотворениями Пушкина и Жуковского вышла в Петербурге около 14 сентября 1831 г.<sup>1</sup> Вопреки высказанному в свое время мнению Вяземского, что этих стихотворений не прочтут за гра-

---

<sup>1</sup> См. Н. Снявский и М. Цявловский «Пушкин в печати». М. 1914, стр. 106.

нищей, они были переведены, по крайней мере, на немецкий язык. Вскоре по выходе в свет брошюры, стихотворения Пушкина и Жуковского в немецком переводе были напечатаны также брошюрой (ценз. разр. 22 сентября 1831 г.) под заглавием: «Der Polen-Aufstand und Warschau's Fall 1831. In drei Gedichten von A. Puschkin, W. Schukowski und A. Chomiakow». <sup>1</sup>

Перевод «Клеветникам России» из этой книжки был дважды перепечатан: в начале 1832 г. в какой-то немецкой газете, <sup>2</sup> а затем в книге Friedrich Arnold Steinmann «Briefe aus Berlin. Geschrieben im Jahr 1832», вышедшей в свет не позднее июля 1832 г. <sup>3</sup>

По одному из этих немецких изданий, не говоря уже о русском тексте, на что почему-то не указывает Ледницкий, Мицкевич мог прочесть стихотворения Пушкина и Жуковского во время своего пребывания в Германии в марте-июле 1832 г. или в Париже, куда поэт приехал 1 августа и где в ноябре был занят печатанием третьей части своей поэмы «Дядя», вышедшей в свет в январе 1833 г. <sup>4</sup> Вместе с поэмой здесь напечатано под заглавием «Ustęp» («Отрывок») семь стихотворений, посвященных России: «Дорога в Россию», «Предместья столицы», «Петербург», «Памятник Петра Великого», «Смотр войскам», «Олешкевич» и «Русским друзьям». Этот цикл, исполненный большой сатирической силы и огромного гражданского пафоса, — ответ Мицкевича на подавление

<sup>1</sup> Эту брошюру описывает в своей статье Ледницкий. Она указана в «Puschkiniana» Межова, стр. 205, № 3214.

<sup>2</sup> См. П. Е. Щеголев «Судьба» одного немецкого перевода «Клеветникам России» — Пушкин и его современники, в. VII.

<sup>3</sup> 27 июля 1832 г. эту книгу А. И. Тургенев послал из Франкфурта-на-Майне кн. П. А. Вяземскому. См. «Переписка А. И. Тургенева с кн. П. А. Вяземским», т. II, Архив братьев Тургеневых, в. 6. Пгр. 1921, стр. 100 и 456—457. Эту перепечатку Ледницкий в своей статье не указал.

<sup>4</sup> См. W. Lednicki. «Aleksander Puszkina», стр. 176.

польского восстания и на ультра-патриотические стихотворения Пушкина и Жуковского. В стихотворении «Русским друзьям» Мицкевич писал:

Вспоминаете ли вы меня?.. Всегда, когда думаю  
О смерти, изгнании, заточении моих друзей,  
Думаю и о вас; вы — чужеземцы —  
Имеете право гражданства в моих мечтах.

Где же вы теперь? Благородная шея Рылеева,  
Которую я обнимал, как шею брата, по царскому приговору  
Висит, привязанная к позорному дереву...  
Проклятье народу, который казнит своих пророков!

Та рука, которую протягивал мне Бестужев,  
Поэт и воин, от пера и сабли  
Оторвана, и царь приковал ее к тачке,  
И она теперь роет в рудниках, работает бок-о-бок с польской рукой

Иных, быть может, постигла еще более тяжелая божья кара...  
Быть может, кто-нибудь из вас, чином, орденом обесславленный,  
Вольную душу продал за царскую ласку  
И теперь у его порога отбивает поклоны.

Быть может, продажным языком славит его торжество  
И радуется страданиям своих друзей;  
Быть может, в моей отчизне пятнает себя моей кровью  
И перед царем хвалится, как заслугой, тем, что его проклинают.

Если до вас издалека от вольных народов,  
На север, дойдут эти жалобные песни  
И отзовутся сверху над страной льдов,  
Пусть возвестят они вам вольность, как журавли возвещают весну.

Узнаете меня по голосу... Пока я был в оковах,  
Ползая тихо, как уж, я хитрил с тираном,  
Но вам открыл то, что тайлось в душе,  
И для вас всегда хранил кротость голубя.

Теперь я выливаю в мир кубок яда.  
Едка и жгуча горечь моей речи,  
Горечь, высосанная из крови и слез моей отчизны,  
Пускай же она ест и жжет не вас, но ваши оковы.

А кто из вас посетует на меня, для меня его жалоба  
Будет как лай собаки, которая так привыкла  
К ошейнику и так терпеливо и долго его носила,  
Что готова кусать руку, срывающую его.<sup>1</sup>

Вопрос о том, имел ли в виду Мицкевич определенных лиц в четвертой и пятой строфах своего стихотворения, и если имел, то кого именно, неоднократно поднимался и по-разному решался польскими и русскими исследователями. Для Ледницкого несомненно, что в словах: «и теперь у его порога отбивает поклоны» Мицкевич говорит о Жуковском, а в словах: «вольную душу продал за царскую ласку» и «быть может, продажным языком славит его торжество» понимает Пушкина. Последнее утверждение Ледницкий основывает на следующем отрывке из письма Н. А. Мельгунова из Москвы от 21 декабря 1831 г. к С. П. Шевыреву в Женеву: «Мне досадно, что ты хвалишь Пушкина за последние его вирши<sup>2</sup>. Он мне так огадился как человек, что я потерял к нему уважение даже как к поэту. Ибо одно с другим неразлучно. Я не говорю о Пушкине, творце Годунова и пр.; то был другой Пушкин, то был поэт, подававший великие надежды и старавшийся оправдать их. Теперешний же Пушкин есть человек, остановившийся на половине своего поприща, и который, вместо того, чтобы смотреть прямо в лицо Аполлону, оглядывается по сторонам и ищет других божеств, для принесения им в жертву своего дара. Упал, упал Пушкин, и признаюся, мне весьма жаль этого. О честолюбие и златолюбие!»<sup>3</sup> В последних словах Ледницкий видит «поразительное сходство» («zbieżność uderzająca») с выражениями: «вольную душу продал за царскую ласку» и

---

<sup>1</sup> Перевод Н. К. Гудзия.

<sup>2</sup> Разумеются «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина».

<sup>3</sup> А. И. Кирпичников. «Между славянофилами и западниками» — «Очерки по истории новой русской литературы» т. II, изд. 2-е, М. 1903, стр. 167—168.

«быть может, продажным языком славит его торжество» стихотворения Мицкевича. Сходство, конечно, есть, но настаивать, что именно приведенное место письма Мельгунова было той информацией, на основании которой польский поэт кинул свой горький и несправедливый упрек по адресу Пушкина, — настаивать на этом трудно. Дело в том, что для того, чтобы утверждать это, нужно сделать ряд довольно проблематических предположений.

Письмо Мельгунова было послано Шевыреву в Женеву, где он жил со своим учеником кн. А. Н. Волконским, сыном кн. З. А. Волконской. Последняя жила в это время в Риме, а Мицкевич в Познани. С Шевыревым Мицкевич, повидимому, не был в переписке, и поэтому, для того, чтобы утверждать, что письмо Мельгунова к Шевыреву стало известно Мицкевичу, нужно предположить, во-первых, что содержание его было передано Шевыревым кн. З. А. Волконской, а во-вторых, что последняя, в свою очередь, привела отзыв Мельгунова о Пушкине в своем письме к Мицкевичу, с которым Волконская, правда, была в переписке, но такое ее письмо неизвестно. Ничего невероятного в этих предположениях, конечно, нет, но нам они представляются ненужными, так как и помимо письма Мельгунова Мицкевич в Германии, а затем в Париже, конечно, мог слышать толки о Пушкине, якобы «предавшемся» царю, среди оппозиционно-настроенных по отношению к правительству Николая русских и поляков эмигрантов. Впрочем и сам Ледницкий признает, что сходство выражений в письме Мельгунова со стихотворением Мицкевича «хотя и несомненное, может быть случайным» и что таким образом «все построение, которое на это сходство опирается, гипотетично»<sup>1</sup>. Напротив, более чем вероятно предположение Ледницкого, что письмо Мельгунова к Шевыреву от 18 февраля 1831 г., где говорится

<sup>1</sup> Указанная статья Ледницкого, стр. 172.



МНОГО





о падении популярности Пушкина среди читателей, о том, что поэт «уронил себя, и вряд ли ему подняться»<sup>1</sup>, это письмо Мицкевич знал, так как жил в это время в Риме и тесно общался с Шевыревым, часто бывая на вилле кн. Э. А. Волконской. Но напрасно, нам кажется, Ледницкий придает большое значение этому письму. Ведь то, что писал Мельгунов, не было новостью для Мицкевича. Еще в 1827—1828 гг. в бытность свою в России он, конечно, хорошо был осведомлен о том осуждении, которое выражалось Пушкину за его стихотворение «В надежде славы и добра» и которое вызвало самооправдание поэта в стихах «Нет, я не льстец». Вся эта история, свидетелем которой был Мицкевич, вероятно, даже принимавший в ней известное участие, несомненно в гораздо большей мере, чем письмо Мельгунова, послужила для польского поэта основанием для его высказываний по этому вопросу в некрологе Пушкина и в XXVIII парижской лекции, на что указывает в своей статье Ледницкий.

Чтобы покончить со стихотворением Мицкевича, укажем, что в словах: «и теперь у его порога отбивает поклоны» Ледницкий видит намек на стихи:

Преклоните же знамена,  
Братья, долг свой сотворя,  
Перед новой славой трона  
И поздравьте с ней царя

стихотворения Жуковского «Новая песня на старый лад». С неменьшим, пожалуй, основанием можно видеть сходство Жуковского, «отбивающего поклоны у царских порогов», с тем его образом, который давала известная эпиграмма декабриста А. А. Бестужева:

Из савана оделся он в ливрею,  
На пудру променял свой лавровый венец,

---

<sup>1</sup> См. «Исторический вестник» 1897, № 4, стр. 146.

С указкой втерся во дворец  
И там, пред знатными сгибая шею,  
Он руку жмет камер-лакею...  
Бедный певец! <sup>1</sup>

Вопрос о том, когда Пушкин прочел «Ustęp» Мицкевича, а стало быть, и стихотворение «Русским-друзьям» в исследовании Ледницкого остается нерешенным. Приведя мнение Третьяка, что Пушкин познакомился с этим произведением «весной или летом 1833 г.», Ледницкий допускает, что это могло быть «еще до весны и во всяком случае до осени 1833 г.». Теперь об этом можно уже не гадать, а с полной уверенностью утверждать, что содержание «Отрывка» («Ustęp») Пушкину стало известно не раньше конца июля 1833 г. Ледницкий не обратил внимания на то обстоятельство, что в библиотеке Пушкина имеется четыре тома собрания произведений Мицкевича издания 1828—1832 гг. на польском языке и что на обложке четвертого тома, в который входит «Ustęp», рукой приятеля Пушкина и Мицкевича С. А. Соболевского написано: «А. С. Пушкину за прилежание, успехи и благонравие. С. Соболевский» <sup>2</sup>.

Послать эту в политическом отношении «нецензурную» книгу по почте Соболевский не мог; он ее, конечно, привез из-за границы, откуда приехал в Петербург 22 июля 1833 г. <sup>3</sup>

Пушкин, отправившись 17 августа в Оренбург, взял с собой этот том Мицкевича. Приехав из Оренбурга в Болдино 1 октября, поэт прожил здесь полтора месяца. Эта вторая «болдинская осень» в плане творческом прошла у Пушкина в значительной мере под знаком польского поэта. Прочитав его мрачный и гневный «Ustęp»,

---

<sup>1</sup> Воспоминания Бестужевых. Редакция, вводные статьи и примечания. М. К. Азадовского и И. М. Троицкого. Изд. Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев. М. 1931, стр. 130.

<sup>2</sup> «Пушкин и его современники», вып. IX—X, стр. 288—289, № 1167.

<sup>3</sup> «Пушкин и его современники», в. XXXI—XXXII, стр. 41.

Пушкин принял сатирическое изображение Петербурга как вызов и решил ответить на него в своем «Медном всаднике». Но, прежде чем приступить к работе над последним, поэт списал в свою рабочую тетрадь из «Uster'a» полностью два стихотворения «Oleszkiewicz» («Олешкевич») и «Do przyjaciół Moskali» («Русским друзьям») и первые тридцать один стих (из шестидесяти шести) «Pomnik Piotra Wielkiego» («Памятник Петру Великому») <sup>1</sup>. Судя по тому, что текст первого из списанных стихотворений написан на наружных половинах согнутых пополам листов, можно думать, что Пушкин намеревался переводить его.

Однако, ни этого, ни других списанных стихотворений поэт не перевел, но зато перевел две баллады Мицкевича: «Czaty» («Дозор»; у Пушкина «Воевода») и «Trzy Budrysów» («Три Будрыса»; у Пушкина «Будрыс и его сыновья»).

В этих переводах, по мнению Ледницкого, Пушкин хотел овладеть стилем Мицкевича и притом в произведениях далеких от той темы, на которую сам Пушкин намеревался писать в своей отповеди польскому поэту <sup>2</sup>. Что касается последней, то о ней Ледницкий пишет: «Пушкин дал отповедь прекрасную, глубокую, лишенную всякого гнева, горечи и досады, она не носила личного характера, не была непосредственно направлена против Мицкевича, но Пушкин знал, по крайней мере, допускал, что польский поэт всё, что нужно было ему в ней понять, поймет. Поэма исполнена истинной, чистой поэзии, автор избег в ней всякой актуальной полемики, дал только искусное оправдание своей идеологии и не побоялся, возбужденный Мицкевичем, коснуться самого больного места в трагической сущности русской истории. В «Медном всад-

<sup>1</sup> Текст этих пушкинских копий (в т. № 2373, хранящейся в Публичной библиотеке Союза ССР им. Ленина) впервые печатается в книге «Рукою Пушкина», выходящей в издании «Academia».

<sup>2</sup> Указ. ст. Ледницкого, стр. 181—182.

нике» Пушкин не затронул русско-польских отношений и тем самым оставил инвективы Мицкевича без ответа»<sup>1</sup>.

На последние Пушкин ответил почти через год, в августе 1834 г., стихотворением «Он между нами жил...»

Интерпретацию этой пьесы Ледницкий начинает с опровержения истолкования, данного стихотворению Третьяком в его известной работе «Slady wpływu Mickiewicza na Puszkina». По мнению Третьяка, стихотворение «Он между нами жил...» — плод «мимолетного» вдохновения, оно написано в эпоху, когда Пушкин, отрекшийся от мысли о независимости, завязал близкие отношения с двором, и является как бы прощанием поэта с гордой, независимой жизнью. «Мысль поэта, — говорит Третьяк, — еще раз обратилась к тому, который своей поэзией несомненно разбудил в Пушкине жажду независимости — к Мицкевичу». Совершенно правильно Ледницкий возражает, что, во-первых, сношения с двором Пушкин завязал за три года до написания стихотворения и что, напротив, в 1834 г. отношения эти начали портиться, и, во-вторых, «если бы, размышляя о добровольно утраченной независимости, об отречении от нее, Пушкин имел намерение обратиться к поэту, разбудившему в нем жажду свободы, то не к Мицкевичу он обратился бы со своими элегическими признаниями — адресатом в этом случае был бы, конечно, Байрон, *par excellence*, поэт независимости духа и как таковой воспринятый Пушкиным»<sup>2</sup>.

Сам Ледницкий смысл стихотворения видит совсем в другом. Прежде всего он сопоставляет со стихотворением «Он между нами жил...» стихотворение 1824 г. «Графу Олизару». Последнее стихотворение обращено к поляку, который был влюблен в Марию Раевскую, и сватовство которого было отклонено отцом девушки. В этом стихотворении Пушкин писал:

<sup>1</sup> Указ. ст., стр. 182.

<sup>2</sup> Там же, стр. 189.

Певец! издревле меж собою  
Враждуют наши племена,  
То наша стонет сторона,  
То гибнет ваша под грозою.  
И вы, бывало, пировали,  
Кремля.....<sup>1</sup> [позор] и плен;  
И мы о камень падших стен  
Младенцев [ваших] избивали,  
Когда в кровавый прах топтали  
Красу Костюшкиных знамен.  
И тот не наш, кто с девой вашей  
Кольцом заветным сопряжен;  
Не выпьем мы заветной чашей  
Здоровье ваших красных жен;  
[И наша дева молодая],  
Привлекши сердце поляка,  
[Отвергнет] гордою душою  
Любовь народного врага.  
*Но глас поэзии чудесной  
Сердца враждебные дружит —  
Закон волшебный [и] небесный! —  
[Вражды] закон.....<sup>1</sup> молчит!  
При звуках песен вдохновенья*  
· · · · ·  
*И восстанут благословенья,<sup>2</sup>  
На племена нисходит мир...<sup>3</sup>*

Выделенные слова Ледницкий сопоставляет со словами стих. «Он между нами жил...»:

«Средплеменни враждебною

<sup>1</sup> Точками обозначен пробел в оригинале.

<sup>2</sup> Стих не написан.

<sup>3</sup> См. Полное собрание сочинений Пушкина изд. ГИХЛ, т. I, М. 1931, стр. 469. Ледницкий цитирует стихотворение по изданию Брокгауз-Ефрон, дающему несколько иной текст. Курсив принадлежит Ледницкому.

Делились мы и чистыми мечтами  
И песнями (он вдохновен был свыше)

народы распри позабыв  
и благословеньем

Его мы проводили

Боже возврати (ниспошли)  
Твой мир в его озлобленную душу».

Нельзя не согласиться с исследователем, что в обоих стихотворениях «основная мысль и подбор выражений очень сходны, в некоторых местах почти тождественны»<sup>1</sup>.

«Пушкин, — продолжает Ледницкий, — чувствовал внутреннюю глубокую потребность обратиться к Мицкевичу именно с такими словами. „Мимолетно его навестив“, муза нашептала ему прежние звуки, знакомые, слышанные десять лет тому назад в украинских садах, где вместе с Густавом Олизаром он влюбился в Марию Раевскую. Там, „в тени украинских черешень“, встретившись с молодым, небольшим поэтом, несчастным влюбленным, нашедшим в поэзии только „лекарство сердца“, понял Пушкин значение даже этой, насквозь интимной, поэзии, убедился, что даже ее достаточно, чтобы умиротворить раздоры „враждующих между собой племен“<sup>2</sup>».

<sup>1</sup> Указ. ст. Ледницкого стр. 192.

<sup>2</sup> Там же. К этому можно добавить, что темы об умиротворяющем значении поэзии Пушкин коснулся через год в стихотворении 1835 г. «Вновь я посетил», в черновом тексте которого есть строки:

Я был один. Врзга я видел в каждом,  
Изменника — в товарище минутном,  
И бурные кипели в сердце чувства,  
И ненависть, и грезы мести бледной...  
Но здесь меня таинственным щитом  
Прощение святое осенило;  
Поэзия, как ангел утешитель  
Спасла меня.

См. Сочинения и письма Пушкина, изд. «Просвещение». СПб 1903, стр. 360.

«Вот почему Пушкин теперь выступил против Мицкевича и повторил то, что он раньше писал Олизару. Но теперь Пушкин имел перед собой великого поэта, могучего народного певца, прежнего приятеля, который изменил в его глазах принципу братства поэтов. Эта измена, по убеждению Пушкина, была очевидна»<sup>1</sup>. Дело в том, что, кроме стихотворения «Русским друзьям», заключающего в себе оскорбительный намек на Пушкина, Мицкевич в «Ustęp» напечатал стихотворение «Памятник Петру Великому», начинающееся стихами:

Вечером, в ненастье стояли двое юношей  
Под одним плащом, взявшись за руки.  
Один был странник, пришлец с Запада,  
Неведомая жертва царского гнета,  
Другой — поэт русского народа,  
Прославленный на всем севере своими песнями.  
Они недолго, но близко были знакомы  
И через несколько дней уже стали друзьями.  
Их души, возвышаясь над земными препоначи,  
Были подобны двум породившимся альпийским скалам,  
Хоть и навеки разделенным водной стремниной  
Они едва слышат шум своего врага,  
Сближаясь друг с другом поднебесными вершинами.

В этих стихах Пушкин не мог не признать себя в «поэте русского народа, прославленном на всем севере своими песнями». О том, что это так и было, красноречиво свидетельствует тот факт, что часть стихотворения с этими стихами Пушкин выписал в свою тетрадь<sup>2</sup>.

Таким образом, оценив приведенную часть стихотворения как «недвусмысленное изображение возвышенной дружбы обоих поэтов, которая господствовала над обыденностью с ее дрязгами и даже вознеслась над истори-

---

<sup>1</sup> Там же.

<sup>2</sup> Вопрос о том, кого именно разумел Мицкевич в приведенных стихах, в данном случае не имеет значения; нам важно отметить лишь то, что Пушкин привял эти стихи на свой счет. Тем не менее нельзя

ческим „старинным спором“ двух враждебных славянских племен», Пушкин в гневных, оскорбительных стихах послания «Русским друзьям» мог увидеть не только нарушение признанного принципа, но и измену интимной дружбе, дружбе конкретной.

Разумея, как правильно замечает Ледницкий, стихи Мицкевича:

Проклятье народу, который казнит своих пророков!...  
Теперь я выливаю в мир кубок яда.  
Едка и жгуча горечь моей речи,

Пушкин писал:

... Но теперь  
Наш мирный гость нам стал врагом — и ядом  
Стихи свои в угоду черни буйной  
Он напоеет.

не указать, что в «Прибавлениях», помещенных в конце книги, Ледницкий, основываясь на замечании проф. А. Брюкнера, высказанном им в «Истории русской литературы» (1922, I, стр. 536), утверждает, что в приведенных стихах Мицкевич разумеет не Пушкина, а Рылеева. С этим, конечно, никак нельзя согласиться. Приведенное Ледницким замечание Брикнера («Разговор у памятника Петра Мицкевич мог вести с Рылеевым, отнюдь не с Пушкиным; это чистая фикция, как и другие в «Ustęp») в сущности ни на чем не основано. Приехавший в Петербург 8 ноября 1824 г. Мицкевич познакомился с Рылеевым не раньше декабря этого года, когда Рылеев приехал в Петербург из Малороссии (см. В. И. Маслов. «Литературная деятельность К. Ф. Рылеева», Киев 1912, стр. 363). Уехал Мицкевич из Петербурга в Одессу не позднее 15 января 1825 г. (см. письмо К. Ф. Рылеева к В. И. Туманскому от 15 января 1825 г. в «Киевской старине» 1899, март, стр. 299). Таким образом, разговор у памятника Петра должен был бы происходить зимой, в декабре — первой половине января, когда разговаривающие едва ли могли стоять, накрывшись лишь плащом. Столь же неправдоподобно было бы назвать Рылеева конца 1824 — начала 1825 г. (до выхода в свет сборника его «Дум» и поэмы «Войнаровский») «повтом русского народа, прославленным на всем севере своими песнями». Наконец, по Ледницкому выходит, что «легенду» о Мицкевиче, разговаривающем с Пушкиным у памятника Петра, будто бы создали русские, польские «комментаторы поэтической корреспонденции великих повтов» (указ. съ., стр. 399). Это не совсем так: еще в брошюре 1859 г. Войницкого «Wspomnienie o życiu Adama Mickiewicza» было напеча-



Перифраза стихов Мицкевича еще явственнее выступает в первоначальном тексте автографа, где имеется зачеркнутый стих:

Проклятия нам шлет и жгущим ядом...

Об этом польский исследователь пишет: «Так дословно цитируя Мицкевича, Пушкин углубил смысл своего упрека, мотивировал его и заострил, основав его на недвусмысленном признании Мицкевича. Последнее, в истолковании Пушкина, если не зачеркнуло целиком ту «кротость голубя», о которой вспомнил сам Мицкевич, и которая привлекала к нему сердца многочисленных «русских друзей», то во всяком случае было в ярком и болезненном противоречии с ней»<sup>1</sup>.

---

тано письмо к составителю брошюры приятеля Мицкевича А. Э. Одынца, писавшего о плаще поэта, в котором «он некогда стоял вместе с Пушкиным перед памятником Петра Великого во время проливного дождя, в полночь» (см. П. Дубровский «Новые материалы для биографии Мицкевича» — «Отечественные записки» 1859, № 4, стр. 520). Об этом же рассказывал А. Э. Одынец Н. Бергу (см. «Русский архив» 1872, № 2, стр. 435). Ледницкий проводит аналогию между этой «легендой» и стихотворением «Любви, надежды, тихой славы», по мнению М. А. Гофмана, с чем согласен польский исследователь, написанным не Пушкиным, а Рылеевым и адресованным не Чаадаеву, а А. Бестужеву. В качестве аргумента в защиту мнения Брикнера лучше было бы не проводить этой аналогии, так как она имеет смысл, диаметрально противоположный тому, какой видит в ней Ледницкий. Попытки Гофмана доказать, что «Любви, надежды, тихой славы» написано Рылеевым, столь же несомнительны, как и мнение Брикнера, что Мицкевич в своем стихотворении разумел не Пушкина, а Рылеева. Мнение Гофмана основано на недоразумении, указанном Б. В. Томашевским (см. его книгу «Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения», Лгр. 1925, стр. 55). Кроме этого, все приведенные Гофманом аргументы в защиту своего мнения весьма основательно опровергаются Л. П. Гроссманом (см. его статью «Пушкин или Рылеев?», первоначально напечатанную в шестой книге альманаха «Недра» (М. 1925) и перепечатанную в первом томе собрания сочинений Л. Гроссмана 1928 г.)

<sup>1</sup> Ук. ст., стр. 212.

Стих в первоначальном чтении автографа:

Делились мы и чашей и мечтами

Ледницкий сопоставляет со стихами из послания к Олизару:

Не выпьем мы заветной чашей  
Здоровье ваших красных жен.

В этом сопоставлении исследователь видит «важное подчеркивание, усиливающее тон горечи и упрека по адресу польского поэта, изменившего дружбе и забывшего о беседах». <sup>1</sup> «О возвращении „кротости голубя“, — пишет в другом месте статьи Ледницкий, — омраченной гневом, душе того, кто отравил кубок дружбы, „молил“ Пушкин бога. Поэтому „чаша“, о которой вспомнил Пушкин, связывается не только со стихотворением к Олизару, но и противопоставлена „отравленному кубку“ Мицкевича» <sup>2</sup>.

Характеристику Мицкевича в словах:

... он вдохновен был свыше  
И свысока взирал на жизнь —

Ледницкий сопровождает обильными справками из мемуарной и эпистолярной литературы, свидетельствующими о том, что «Мицкевич вызывал у всех своих приятелей, которые о нем писали, впечатление человека огромных способностей, одаренного „свыше“ особенным даром вдохновения, неохотно отзывавшегося на низкую действительность». Таковы отзывы Кс. Полевого, кн. П. А. Вяземского, С. Т. Аксакова, А. И. Дельвига <sup>3</sup>. В кругу московских приятелей, которые подарили Мицкевичу на прощальном ужине (в марте — начале апреля 1828 г.) кубок

---

<sup>1</sup> Там же, стр. 201.

<sup>2</sup> Там же, стр. 212.

<sup>3</sup> К ним нужно прибавить отзыв А. П. Керн. См. ее воспоминания в изд. «Academia», 1929, стр. 275.

с вырезанными подписями Е. А. Боратынского, И. и П. В. Киреевских, А. А. Елагина, Н. М. Рожалина, Н. А. Полевого, С. П. Шевырева и С. А. Соболевского, Мицкевич, по выражению Ледницкого, «считался олицетворением высшего поэтического характера, типом некоего классического поэта-певца, вдохновенного поэта, взиравшего с высот поэзии на людей и жизнь»<sup>1</sup>. Эпитет «вдохновенный» был неотделим от Мицкевича в устах русских, когда они говорили о нем. Перешел он и в поэзию; до Пушкина Боратынский писал:

Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,  
Я застаю у Байроновых ног,  
Я думаю: поклонник униженный!  
Встань, встань и вспомни, сам ты бог!

У Пушкина Мицкевич, как лицо, упоминается в поэзии три раза и всегда как «певец», как певец «вдохновенный».

Первый раз Пушкин сказал о Мицкевиче в «Евгении Онегине», в «Отрывках из путешествия Онегина», которые писались в 1829—1830 г. г.

Здесь читаем:

Там пел Мицкевич вдохновенный  
И посреди прибрежных скал  
Свою Литву воспоминал.

В стихотворении 1830 г. «Сонет», в котором Пушкин называет Данте, Петрарку, Камюэнса, Вордсворта, Шекспира, Мицкевича и Дельвига, он говорит о польском поэте:

Певец Литвы в размер его стесненный  
Свои мечты мгновенно заключал.

В последних словах можно видеть намек на необыкновенную способность Мицкевича к импровизациям.

Этому дару Мицкевич был обязан, — может быть, не в меньшей мере, чем своим напечатанным произведе-

---

<sup>1</sup> Указ. ст. Ледницкого, стр. 206—207.

ниям, — тем чувством восхищения и восторга, которое он возбуждал среди своих русских приятелей.

Современник свидетельствует, что дружба Пушкина с Мицкевичем началась с того вечера, когда Пушкин впервые услышал импровизацию польского поэта. 9/21 мая 1829 года А. Э. Одынец писал Юлиану Корсаку из Петербурга: «Мицкевич несколько раз выступал с импровизациями здесь и в Москве; хотя были они в прозе, и то на французском языке, но возбудили удивление и восторг слушателей. Ах, ты помнишь его импровизации в Вильне! Помнишь то подлинное *преображение* лица, тот блеск глаз, тот проникающий голос, от которого тебя даже страх охватывает, как будто через него говорит дух. Стих, рифма, форма, — ничего тут не имеет значения. Говорящим под наитием духа дан был дар всех языков или, лучше сказать, тот таинственный язык, который понятен всякому. На одной из таких импровизаций в Москве Пушкин, в честь которого давался тот вечер, сорвался с места и, ероша волосы, почти бегая по зале, воскликнул: — «*Quel génie! Quel feu sacré! Que suis-je auprès de lui?*»<sup>1</sup> и, бросившись на шею Адама, сжал его и стал целовать, как брата. Я знаю это от очевидца. Тот вечер был началом взаимной дружбы между ними»<sup>2</sup>.

Воспоминаньем об этих импровизациях и являются стихи Пушкина:

. Нередко

Он говорил о временах грядущих,  
Когда народы, распри позабыв,  
В великую семью соединятся.  
Мы жадно слушали поэта.

Еще Анненков в своих «Материалах для биографии Пушкина», со слов П. А. Плетнева, писал: «Подробности, находящиеся в стихотворении «Он между нами жил», все взяты из действительности. Лицо, к которому оно

<sup>1</sup> Какой гений! Какой священный огонь! Что я рядом с ним?

<sup>2</sup> А. Е. *Odyniec*. *Listy z podróży*. Tom I. Warszawa 1884, p. 57.

написано, отличалось даром импровизации и раз в самой квартире Пушкина, в Демуте трактире, долго и с жаром говорило о любви, которая некогда должна связать народы между собою»<sup>1</sup>.

Об этом же писал П. П. Дубровский в примечании к приведенным стихам: «От П. А. Плетнева я слышал, что эта мысль была выражена Мицкевичем в его речи на французском языке, которую он однажды импровизировал в дружеском кругу русских литераторов, в Петербурге»<sup>2</sup>. Любопытнейший рассказ об этой импровизации находим в неопубликованном письме кн. П. А. Вяземского к жене. Вот что писал последний из Петербурга 2 мая 1828 г.: «Третьего дня провели мы вечер и ночь у Пушкина с Жуковским, Крыловым, Хомяковым, Мицкевичем, Плетневым и Николаем Мухановым. Мицкевич импровизировал на французской прозе и поразил нас, разумеется, не складом фраз своих, но силою, богатством и поэзией своих мыслей. Между прочим он сравнивал мысли и чувства свои, которые нужно выражать ему на чужом языке, avec un enfant mort dans le sein de sa mère, avec des matériaux enflammés qui brûlent sous terre, sans avoir de volcan pour leur eruption»<sup>3</sup>. Удивительное действие производит эта импровизация. Сам он был весь растрожен, и все мы слушали с трепетом и слезами».

Об этом же через сорок пять лет Вяземский так вспоминал: «Импровизированный стих его, свободно и стремительно, вырывался из уст его звучным и блестящим потоком. В импровизации его были мысль, чувство, картины

<sup>1</sup> Указ. книга, изд. 1855 г. стр. 250. В черновых записях Анненкова сведений о Пушкине имеется такая: «Импровизация Мицкевича о равенстве народов в Демуте трактире». См. Б. Л. Модзалевский «Пушкин». Изд. «Прибой», Лгр. 1929, стр. 342.

<sup>2</sup> П. П. Дубровский. «Адам Мицкевич» — «Отечественные записки» 1858, № 9, стр. 39.

<sup>3</sup> С младенцем, умершим во чреве матери, с расплавленной лавой, горящей под землей, не имея вулкана, чтобы извергаться.

и в высшей степени поэтические выражения. Можно было думать, что он вдохновенно читает наизусть поэму, им уже написанную. Для русских приятелей своих, не знавших польски, он иногда импровизировал по-французски, разумеется, прозою, на заданную тему. Помню одну. Из свернутых бумажек, на коих записаны были предлагаемые задачи, жребий пал на тему, в то время и поэтическую, и современную: приплытие Черным морем к Одесскому берегу тела Константинопольского православного патриарха, убитого турецкою чернью. Поэт на несколько минут, так сказать, уединился во внутреннем святилище своем. Вскоре выступил он с лицом, озаренным пламенем вдохновения: было в нем что-то тревожное и прорицательное. Слушатели в благоговейном молчании были также поэтически настроены. Чуждый ему язык, проза, более отрезвляющая, нежели упоющая мысль и воображение, не могли ни подавить, ни остудить порыва его. Импровизация была блестящая и великолепная. Жаль, что не было тут стенографа. Действие ее еще памятно; но, за неимением положительных следов, впечатления непередаваемы. Жуковский и Пушкин, глубоко потрясенные этим огнедышащим извержением поэзии, были в восторге»<sup>1</sup>.

Из приведенных слов Вяземского Ледницкий придает особенное значение указаниям на то, что импровизация Мицкевича производила впечатление вдохновенного чтения наизусть уже написанной поэмы, что в этом чтении было «что-то тревожное и прорицательное». Последнее заставляет польского исследователя вспомнить пушкинского «Пророка», в лице которого, по толкованию Мицкевича в его парижских лекциях, Пушкин изобразил поэта. Не касаясь вопроса о том, насколько это истолкование, всецело поддерживаемое Ледницким, правильно, заметим, что, кроме Вяземского, пророком назвал Мицкевича Бо-

---

<sup>1</sup> «Русский архив» 1873, № 6, стр. 1084—1085.

ратынский в стихотворении «Не бойся едких осуждений», третья строфа которого читается:

Прости, я громко негодую;  
Прости, наставник и пророк,  
Я с укоризной указую  
Тебе на лавровый венок!<sup>1</sup>

В приведенных выше стихах Пушкина («Он между нами жил...») Ледницкий не без основания видит некоторый «элемент раскаяния»<sup>2</sup> Пушкина, поскольку он без возражений и оговорок говорит о провозглашенной Мицкевичем идее братства народов, столь противоречащей националистическим взглядам Пушкина, выраженным им в стихотворениях 1831 года.

Слова Пушкина: «Издали до нас доходит голос злобного поэта», конечно, как отметил Ледницкий, являются ответом на стихи Мицкевича: «Если до вас издалека... на север дойдут эти жалобные песни... Узнаете меня по голосу»<sup>3</sup>.

Наконец, о словах чернового текста (в тетр. № 2374 Ленинской библиотеки):

И молим бога, да прольет он кротость  
В его озлобленную душу —

Ледницкий пишет: «Русское «кротость» ближе всего передает: «gołębia prostotę». В этом последнем аккорде Пушкин изжил свое собственное недоброе чувство к Мицкевичу, потому что, если желал «покоя» душе Мицкевича, должен был ощущать тишину в своем собственном сердце<sup>4</sup>.

В итоге своего тонкого и глубокого анализа Ледницкий дает такую характеристику стихотворения Пушкина:

<sup>1</sup> Это стихотворение В. Я. Брюсовым и вслед за ним М. Л. Гофманом без достаточных оснований отнесено к А. Н. Муравьеву; видели в адресате и Пушкина. Что стихотворение посвящено Мицкевичу, доказано Филипповичем в его книге «Жизнь и деятельность Боратынского», 1917, стр. 127—134.

<sup>2</sup> Указ. ст., стр. 194.

<sup>3</sup> Там же, стр. 212.

<sup>4</sup> Там же.

«Стихотворение, обращенное к Мицкевичу, было произведением, которое и психологически и художественно глубоко коренится в творчестве Пушкина; нет в нем ничего случайного, необоснованного, напротив, каждое слово, каждое выражение, мысль и каждое чувство, общий его колорит и тон — плод размышления, хорошо прочувствованной эмоции, — глубокой, задушевной, которая ни в какой мере не накипь сердца, не каприз мысли — напротив, всё в этом стихотворении взвешено и обдуманно, в нем нет неглубокого, поверхностного рефлекса, всё стихотворение — совершенно намеренный жест, задуманный и выполненный в одном отчетливом плане»<sup>1</sup>.

Остается неизвестным, прочел ли Мицкевич обращенное к нему стихотворение Пушкина.

В парижском музее Мицкевича имеется список (неизвестной руки) этого стихотворения<sup>2</sup>. Под текстом списка, дословно совпадающем с текстом посмертного издания сочинений Пушкина<sup>3</sup>, написано: «Голось съ того свѣта». Какого происхождения список, принадлежал ли он Мицкевичу или поступил в музей со стороны, мне неизвестно. Но услышал ли этот голос Пушкина «с того света» Мицкевич или не услышал, обращение его к Пушкину после смерти поэта в посвященном ему некрологе, напечатанном в «Le Globe» (№ от 25 мая 1837 г.), было исполнено глубокой содержательности и большого благородства. В этом замечательном некрологе, до сих пор еще недостаточно оцененном, великий польский поэт остался верен тому чувству дружбы, которое соединяло его некогда с русским собратом.

<sup>1</sup> Там же, стр. 210—211.

<sup>2</sup> См. «Katalog rękopisów muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu» Kraków, 1931, стр. 143, № 796. Здесь рукопись значит как автограф Пушкина. Фотографический снимок с рукописи имеется в Центральном музее художественной литературы, критики и публицистики. Почерк списка очень похож на почерк И. С. Тургенева.

<sup>3</sup> Только в восьмом стихе по ошибке пропущено слово: «взирал»



*Н. Лернер*

## ИЗ ИСТОРИИ ЗАНЯТИЙ ПУШКИНА «СЛОВОМ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

### I

С 1834 г. вплоть до самой смерти Пушкина «Слово о полку Игореве», которое, по его выражению, «возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности», было предметом его усиленного внимания. Вскоре после смерти поэта один из его последних собеседников, несколько недель назад говоривший с ним, писал: «его светлые объяснения древней Песни о полку Игореве, если не сохранились в бумагах, невозвратимая потеря для науки»<sup>1</sup>. Весною 1836 г. Пушкин сказал С. П. Шевыреву, что изучает поэму, и сообщил ему свое толкование первых слов ее. «Слово о полку Игореве он помнил — рассказывал Шевырев — от начала до конца наизусть и готовил ему объяснение. Оно было любимым предметом его последних разговоров... Известно, что Пушкин готовил издание Слова о полку Игореве. С глубоким уважением говорил он об его поэтических достоинствах и не сочувствовал нисколько мнениям скептиков, которые всего сильнее действовали в его время»<sup>2</sup>. Тогда же он говорил о своих занятиях Словом другому

---

<sup>1</sup> *Н. М. Коркунов*. «Письмо к издателю». «Московские ведомости» 10 февраля 1837 г. № 12.

<sup>2</sup> «Воспоминания Шевырева о Пушкине» (*Л. Н. Майков*, «Пушкин», СПб, 1899, стр. 331, 354).

ученому, И. М. Снегиреву<sup>1</sup>. За несколько дней до кончины поэта И. П. Сахаров «слышал его предсмертные замыслы о Слове Игорева полка», а потом «при разборе библиотеки Пушкина видел на лоскутках начатые заметки»<sup>2</sup>. Когда, много лет спустя, Б. Л. Модзалевский разбирал библиотеку поэта, каталог которой составил, он обнаружил только один лоскуток, на котором поэт набросал возражение на замечание Сенковского<sup>3</sup> по поводу слов «Хочу копье преломити, а любо испити». Этот драгоценный листок лежал в изданной в 1833 г. книге А. Ф. Вельтмана «Песнь ополчению Игоря Святославича, Князя Новгород Северского», которую Пушкин испещрил своими замечаниями<sup>4</sup>. Может быть, из библиотеки Пушкина попала к А. А. Краевскому маленькая заметка, о которой см. ниже («Стуга то же, что туга...»); может быть еще выплывет на свет что-нибудь из этих лоскутков. В библиотеке поэта дошло до нас несколько книг, посвященных

<sup>1</sup> «Русский архив» 1902, III, 170—171.

<sup>2</sup> «Русский архив» 1873, I, 955.

<sup>3</sup> В «Библ. для чтения», 1834 г.

<sup>4</sup> Б. Л. Модзалевский. «Библиотека А. С. Пушкина». — «Пушкин и его современники», вып. IX—X, СПб, 1910, стр. 20—21; тут же facsimile возражения Пушкина Сенковскому. Заметки Пушкина на полях книги Вельтмана Б. Л. Модзалевский здесь напечатал все вплоть до последней, записанной на задней странице обложки «Слава на судъ приведе». Однако тут у Модзалевского оказывается неточность, и весьма существенная. Вот правильная транскрипция:

Слава на судъ приведе.

у

Очевидно, Пушкин сомневался в правильности передачи изданием 1800 г. данного места, подозревал, что редакция ошиблась, приняв прямое дополнение за подлежащее в следующих словах: «Бориса же Вячеславича слава на судъ приведе», и намерен был предложить исправленное чтение: «Бориса же Вячеславича славу на судъ приведе», где подразумеваемым подлежащим должно быть подлежащее предыдущей фразы: «Владимиръ по вся утра уши закладаше въ Черниговъ» — и он же привел на суд славу (похвальбу) Бориса Вячеславича.

ПРОПОНОВА

Предложа за промена на уставот на Република Македонија

решението, усвоено на седумнаесеттиот сесии на Соборот на Република Македонија

(*Dr. Kozin*)

Предложа за промена на уставот на Република Македонија



Слову, в том числе вышедшая в 1834 г.<sup>1</sup> брошюра С. В. Руссова, специально исследовавшего вопрос о подлинности поэмы, который особенно интересовал Пушкина, и издание Ганки с чешским и немецким переводом; экземпляр последней книги переплетен с чистыми прокладными листами между страницами, — повидимому Пушкин сам велел переплести таким образом эту книгу, предназначая белые листки (они так и остались чистыми) для своих замечаний<sup>2</sup>. Был у него еще один экземпляр ее, но Пушкин послал его, через А. И. Тургенева, одному французскому ученому. А. И. Тургенев писал своему брату Николаю Ивановичу 13 декабря (ст. ст.) 1836 г., что Пушкин «хочет сделать критическое издание сей песни вроде Шлецерова «Нестора» и показать ошибки в толках Шишкова и других переводчиков и толкователей, но для этого ему нужно дождаться смерти Шишкова, чтобы преждевременно не уморить его критикою, а других смехом. Три или четыре места в оригинале останутся неясными, но многое пояснится, особливо начало. Он прочел несколько замечаний своих, весьма основательных и остроумных: все основано на знании наречий славянских и языка русского»<sup>3</sup>. Сам А. И. Тургенев для этой работы дал Пушкину имевшийся у него экземпляр Слова с рукописными замечаниями, — важными, по словам Тургенева, в отношении восточных языков, — археолога А. Я. Италинского<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> В этом же году появились направленные также против признания подлинности Слова высказывания М. Т. Каченовского и И. И. Давыдова (см. выдержки у Н. К. Козмина в примечаниях к IX т. Соч. Пушкина, изд. Академии наук, ч. 2, стр. 598—601). Вообще это было время весьма живого внимания к Слову.

<sup>2</sup> «Библиотека Пушкина», 245, № 969.

<sup>3</sup> П. Е. Щеголев. «Дуэль и смерть Пушкина», изд. 3-е, Лг., 1928, стр. 278; см. по этому поводу записку А. И. Тургенева к Пушкину («Русский архив» 1903, III, стр. 669, и Переписка Пушкина, изд. Академии наук, III, стр. 421, № 1108).

<sup>4</sup> «Русский Библиофил» 1916, № 4, стр. 34—35.

Замечания Пушкина на Слово о полку Игореве, к счастью, не пропали, по крайней мере в главной и большей своей части, которая с 1855 г. печатается во всех собраниях его сочинений. Но до сих пор все они не собраны вместе и не приведены в связь, а кое-что игнорировано даже самыми полными изданиями. Здесь не место (да и размеры статьи не позволяют) рассматривать подробно и по существу взгляды Пушкина на Слово о полку Игореве. Скажем лишь, что специалисты филологи и историки литературы, исследуя работу Пушкина над изучением Слова (этого они до сих пор не делали с тем вниманием, какое в данном случае должно быть приложено), обязаны будут отвести великому поэту одно из самых почетных мест в ряду критиков и комментаторов знаменитого памятника. Судя по началу работы Пушкина, он полагал глубокое основание своему исследованию и стремился охватить предмет с чрезвычайной широтой и строгою научною требовательностью, которая сделала бы честь не только просто «писателю», каким он и был, но и настоящему ученому академического типа. Нечего и говорить о гениальном поэтическом чутье Пушкина, сказавшемся в его горячей защите подлинности Слова, — но он предвосхитил некоторые положения, впоследствии разработанные и установленные другими исследователями, а его толкование начала Слова и теперь взывает о пересмотре возбужденного им вопроса.

В 1937 г., когда минет сто лет со дня кончины Пушкина, состоится всенародное торжественное чествование памяти великого поэта. К тому же году можно приурочить еще одну юбилейную дату, более внушительную по своей седой древности: 750-летие Слова о полку Игореве<sup>1</sup>, произведения гения, который бесспорно был от-

---

<sup>1</sup> И. Н. Жданов доказывал, что Слово написано в 1187 г. (в статье «Литература слова о полку Игореве» — Сочин., т. 1); это мнение защищает В. А. Келгуля («Слово о полку Игореве. Перев., прим. и

даленным духовным предком Пушкина, его ранним предтечею в русской культуре.

## II

Когда вышла в свет работа Вельтмана, М. А. Максимович поместил в «Молве» разбор ее, где, между прочим, писал: «кто сроднился с духом песен и дум украинских и вдумывался в красоты Слова о полку Игореве, тому не покажется странным, если сказать, что в них однородство поэтических характеров, что Слово о полку Игоря есть начало той южно-русской эпопеи, которая потом звучала и звучит еще в думах бандуристов и во многих песнях украинских, и что песнь Ярославны есть, так сказать, тема, которая распевается в дышащих любовью женских песнях украинских»<sup>1</sup>. В письме 17 февраля 1833 г. к князю П. А. Вяземскому Максимович спросил, что скажет Пушкин по поводу его мнений о «поэтическом однородстве» Слова о полку Игореве с украинскими народными песнями<sup>2</sup>.

Мнение Пушкина было тем ценнее для Максимовича, что в Пушкине он видел мастера того же творческого рода, гениальный образец которого дал много веков тому назад автор Слова о полку Игореве: «первородный,

---

объясн. статьи», 3-е изд., Лг. 1930, стр. 84—89). А. И. Лященко («Этюды о Слове о полку Игореве» — «Изв. II Отд. Ак. Н.», т. XXXI, 1926) относит Слово к 1185 г. Существенного научного значения это небольшое различие не имеет. Хронология Слова устанавливается в самых узких пределах, с точностью, которая не представляется достижимой в отношении некоторых, довольно крупных, произведений Пушкина.

<sup>1</sup> «Молва» 1833 г. № 23—24; перепеч. в Сочин. М. А. Максимовича, т. III, Киев, 1880, стр. 656—660. Общую мысль свою Максимович снова выразил в «Украинских народных песнях», ч. I, 1834, стр. 68, а слова о плаче Ярославны вскоре почти дословно повторил в своих университетских лекциях, напеч. в «Ж. М. Н. Пр.» 1836—7., гг. и перепеч. в Сочин., III, стр. 532.

<sup>2</sup> «Старина и Новизна», кн. IV, СПб 1901, стр. 192—193.

изящный образец собственно-русской настоящей *Исторической Поэмы*<sup>1</sup>. Новыми явлениями и, так сказать, продолжением сего рода поэзии были потом южно-русские или украинские песни и думы былевые (исторические), по моему замечанию ближайшие и однороднейшие с песнию о полку Игореве... В новейшее время русская поэзия, при переходе своем к самобытности, явилась *Историческою Поэмою* в поэме Пушкина *Полтава*<sup>2</sup>. Десять лет спустя Максимович повторил эти свои слова о «Полтаве», в которой «так много мотивов чисто-русских, совершенно народных», и не без гордости вспомнил, что писал о ней, вскоре после ее появления, в «Атенеи»<sup>3</sup>, — здесь он защищал Пушкина лишь в отношении исторической достоверности героев поэмы, но рецензия эта была одною из самых веских и притом немногих одобрительных (в альманахе «Денница» на 1831 г., изданном Максимовичем, Пушкин напечатал свой ответ критикам «Полтавы»). «Приятно мне вспомнить, что о «Полтаве» Пушкина я первый (1829), в «Атенеи», писал как о поэме народной и исторической; незабвенно мне, как Мерзляков журил меня за мою статью, и как благодарил потом Пушкин, возвратясь из своего закавказского странствия»<sup>4</sup>. Много лет спустя Максимович вспомнил<sup>5</sup> свою беседу с Пушкиным об украинских песнях. «В 1829 г., когда Пушкин воротился в Москву из своего закавказского стран-

<sup>1</sup> Патетические заглавные буквы и курсив принадлежат самому Максимовичу.

<sup>2</sup> Те же университетские лекции 1835 г., перепеч. в Соч. Максимовича, III, стр. 512—514.

<sup>3</sup> 1829 г., № 6, «О поэме Пушкина «Полтава» в историческом отношении».

<sup>4</sup> «О народной исторической поэзии в древней Руси». (Письма к М. П. Погодину).—«Москвитянин» 1845 г.: перепеч. в Соч. Максимовича, III, стр. 490—491.

<sup>5</sup> «Оборона украинских повестей Гоголя»—газ. «День» 1861 г.; цитирую по перепечатке этой статьи в «Литературном вестнике» 1902 г., т. III, кн. I, стр. 113.



ствования, я застал его в одно утро за письменным столом; перед ним были развернуты Малороссийские песни моего издания 1827 года. „А я это обкрадываю ваши песни!“ — сказал он и, взяв со стола прерванное моим приходом письмо, прочел из него выразительно:

Мені в жинкою не возиться,  
А тютюн да люлька  
Козаку в дорози  
Знадобиться!<sup>1</sup>

Может быть еще уцелело где-нибудь это, памятное для меня, письмо <sup>2</sup>...» Тут же Максимович вручил Пушкину список одной, тогда еще неизданной, песни о Мазепе, и поэт, прочтя ее дважды, повторил уже наизусть следующий куплет:

У Києви на Подолі порубаны груши;  
Погубив же пес Мазепа невинные души!<sup>3</sup>

Весною 1834 г. вышла книжка, для Пушкина представлявшая бесспорный интерес: «Украинские народные песни, изданные Михаилом Максимовичем», часть первая, М., 1834 <sup>4</sup>; в подготовке ее принимал участие и судьбою ее весьма интересовался Гоголь, который тогда сам изучал и собирал украинские песни и как раз в то время был в близком общении с Пушкиным <sup>5</sup>. На одной записке

<sup>1</sup> Из казачьей песни о забубенном Сагайдачном (не надо его смешивать с известным Сагайдачным-Конашевичем), том, «що проміняв жинку на тютюн да люльку».

<sup>2</sup> Письмо это неизвестно. Вероятно, оно относилось к вживавшим поэта в ту пору matrimonialным планам и сопровождал им их колебаниям.

<sup>3</sup> Эту песню о Мазепе Максимович потом (1834 г.) включил в свой сборник «Украинские народные песни», стр. 110—111.

<sup>4</sup> Экземпляр с надписью Максимовича, подаренный им Пушкину, сохранился в библиотеке поэта («Пушкин и его современники», IX—X, стр. 61, № 227).

<sup>5</sup> В письме к Максимовичу 20 апреля Гоголь обещал его сборником «похвастаться Пушкину» («Письма Гоголя», I, стр. 291—292).

Гоголя к Пушкину, относящейся к июлю 1834 г., находятся следующие строки, набросанные рукою Пушкина, очевидно, вскоре по получении записки <sup>1</sup>:

Черна роля заорана  
Гей гей  
Черн. etc.  
И кулями засяна  
Билымъ тиломъ взволочена  
Гей гей  
И кровію сполочена  
etc.

Это первый куплет галицкой песни, напечатанной Максимовичем в только что вышедшем сборнике, в числе «Песен войсковых» (стр. 154):

Чорна роля заорана — гей, гей —  
Чорна роля заорана  
И кулями засяна,  
Бълымъ тълумъ зволочена, — гей, гей —  
И кровю сположена.

Пушкин довольно точно воспроизвел песню, не соблюдая впрочем условной украинской орфографии Максимовича и сбившись в одном слове на великорусское произношение (взволочена).

Для чего понадобилась Пушкину эта выписка? Надо думать, что она стоит в связи с вопросом, которым занимался и который задавал ему Максимович: с вопросом о «поэтическом однородстве» Слова о полку Игореве украинских народных песен и с собственными занятиями Пушкина Словом. Одним из самых поэтических мест древней поэмы Пушкин считал описание битвы. Их два в Слове. В одном из них находится ярко-образное сравнение битвы с земледельческой работой: «Чръна земля под копыты костью была посяна, а кро-

---

<sup>1</sup> Общий автограф Гоголя и Пушкина фотолитографически воспроизведен в «Русской Старине» 1879 г., апр., между стр. 776 и 777.

вію поляна; тугою въздоша по Руской земли». («Черная земля под копытами костями была посеяна, кровью полита, и скорбью възшли они по русской земле»). В другом месте описан другой бой: «На Немизѣ снопы стелють головами, молотятъ чеши харалужными, на тоцѣ животь кладуть, вѣють душу отъ тѣла. Немизѣ кровави брезѣ не бологомъ бяхуть посѣяни, посѣяни костями Рускихъ сыновъ». («На Немиге снопы стелют головами, — вместо снопов стелют головы, как передано в издании 1800 г., — молотят цепами булатными, на току жизнь кладут, отвѣают душу от тела. Кровавые берега Немиги не добром были засеяны, засеяны костями сынов Руси»). Образ из той же области находим еще в одном месте Слова: «при Олзѣ Гориславличе сѣяшеться и растяшеть усобицами» («при Олеге Гориславичи [горе]<sup>1</sup> сеялось и возрастало [всходило] междоусобиями»).

Максимович усматривал в этих сравнениях исключительную особенность южно-русского творчества. «Поле жатвы обратилось в поле брани, — говорил он: — вот, кажется, задушевная мысль южно-русского певца, с которою он представляет битву на родимой земле своей, ибо он изображает ее красками земледельческого быта — пашнею, посевом, молотьбою...» и, приведя вышеупомянутую песню «Чорна роля заорана», заключает: «итак уподобление поля битвы пашне есть черта южно-русской поэзии»<sup>2</sup>. Впоследствии Максимович привел еще один пример, из украинской думы о походе Хмельницкого в Молдавию<sup>3</sup>, и снова повторил, что «изображение битвы работами земледельческими есть характерная черта поэзии южно-русской, продолжавшаяся в песнях и думах

---

<sup>1</sup> А. А. Потебня («Слово о полку Игореве. Текст и примечания.» Изд. 2-е, Харьков 1914, стр. 41—55) предложил вставить подлежащее: «горе».

<sup>2</sup> Соч. Максимовича, III, стр. 524—526 (из университет. лекций 1835 г.)

<sup>3</sup> Напеч. в его «Украинских народных песнях» 1834 г., стр. 41.

украинских»<sup>1</sup>. Однако и в великорусской<sup>2</sup> поэзии, и в белорусской немало есть примеров подобных сравнений, изображающих посев горя (а также противоположно — счастья) или битву как оранье поля<sup>3</sup>, веянье и молотьбу хлеба.

Задолго до того, как внимание Пушкина было привлечено украинской песней «Черна роля заорана», он воспользовался в «Полтаве» сравнением из той же области метафор:

Как пахарь битва отдыхает.

Не подлежит сомнению, что сравнение это не самостоятельно создано воображением Пушкина, а взято из древнего, готового эпического запаса, который нашему поэту был хорошо знаком. Оно могло быть ему навеяно либо словом о полку Игоре, либо великорусскими народными песнями, которые были ему ближе и известнее украинских, и в которых изображение битвы земледельческими образами встречается не реже, а даже чаще, чем в украинских<sup>4</sup>.

Не черным-то зачернелось, —  
Зачернелось турецкое чисто поле;  
Не плугами поле, не сохами пораспахано,  
А распахано поле конскими копытами;

---

<sup>1</sup> «Замечания на Песнь о полку Игоре в стихотворном переводе Гербеля» («Москвитянин» 1855 г., № 2, январь, кн. 2, стр. 114; перепеч. в Соч. Максимовича, III, стр. 599). В одной песне даже «виорала Марусенька мислоньками поле, чорними очима тай заволочила» («Исторические песни малорусского народа». С объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова. Киев, т. I, 1874, стр. 47).

<sup>2</sup> См. примеры, приводимые Потебней (стр. 56, 57—59, 62, 125, 126).

<sup>3</sup> Впоследствии и другой наш народный поэт, Некрасов, упомянул о «кровоавой ниве» («Внимая ужасам войны...»)

<sup>4</sup> Связь Слова о полку Игоре с великорусским эпосом хорошо установили Н. С. Тихонравов, А. И. Смирнов, Е. В. Барсов, П. В. Владимиров (см. М. А. Яковлев, «Слово о полку Игоре и былинный эпос», Пг., 1923, стр. 3—4).

Засеяно поле не всхожими семенами,  
Засеяно казачьими головами,  
Заволочено поле казачьими черными кудрями...<sup>1</sup>

Одна песня петровской эпохи, именно времен борьбы с Швецией, открывается таким зачином<sup>2</sup>:

При край было синего моря,  
При усть было тихого Дунаю,  
Тут распахана была пашня:  
Не плугами и не сохами, —  
Добрых коней копытами;  
Посеяна была пашня  
Еще теми же драгунскими телами;  
Взборонована была пашня  
Еще теми же муравецкими копьями;  
Поливана была пашня  
Тою ли христианской кровью.

В другой песне той же эпохи, как раз о полтавском бое<sup>3</sup>, которая могла быть известна Пушкину, говорится:

Подымалась Полтавска баталя...  
Распахана шведская пашня,  
Распахана солдатской белой грудью;  
Орана шведская пашня  
Солдатскими ногами;  
Боронена шведская пашня  
Солдатскими руками;  
Посеяна новая пашня  
Солдатскими головами;  
Поливана новая пашня  
Горячей солдатской кровью.

<sup>1</sup> Песня Екатерининских времен о Зориче и Краснощекове («Песни, собранные П. В. Киреевским», изд. Общ. люб. росс. словесн., под ред. П. А. Бессонова, вып. 9, М., 1872, стр. 220). Ближе к ней по образам стоит русская казачья песня о сражении с киргизами на реке Утве, 1723 г., сообщаемая И. И. Железновым («Уральцы», т. III, изд. 3-е, СПб., 1910, стр. 70, 72, 73), который при этом упоминает о двух великорусских песнях, напечатанных П. В. Шейном (1854 г.). Ср. с песнею об утвинском сражении, напеч. в «Песнях, собр. П. В. Киреевским. Новая серия», изд. Общ. люб. росс. словесн. под ред. М. Н. Сперянского, вып. II, ч. 2, стр. 226, № 2527).

<sup>2</sup> «Песни собр. П. В. Киреевским», вып. 8, М. 1870, стр. 127—228.

<sup>3</sup> Там же, стр. 173.

III

Свое письмо к И. И. Лажечникову о «Ледяном Доме» Пушкин закончил следующими словами. «Позвольте сделать вам филологический вопрос, коего разрешение для меня важно: в каком смысле упомянули вы слово *хобот* в последнем вашем творении и по какому наречию?» Лажечников ответил: «объясню вам, почему я употребил слово *хобот* в „Ледяном Доме“ и, кажется, еще в „Последнем новике“. Всякий лихой сказочник вместо того, чтобы сказать „таким-то образом, каким-то путем“, пощеголяет выражением „таким-то хоботом“. Я слышал это бывало от моего старого дядьки, слышал потом не раз в народе московском, следственно по наречию великороссийскому»<sup>1</sup>. В. И. Даль внес это слово в свой «Толковый словарь живого великорусского языка» с объяснением, что оно значит «хвост», а в новгородском крае употребляется в значении околицы, крюка, окружного пути. Мне кажется, что выражение «каким хоботом» создано балагурством и подсказано рифмой. Словом «хобот» заменено здесь другое, рифмующее: «побыт», образ или род действия, как объясняет тот же Даль, притом с ироническим оттенком, — не просто путем, а окольным путем, уловкой<sup>2</sup>.

Слово *хобот* интересовало Пушкина, несомненно, потому что оно однажды упоминается в Слове о полку Игореве, притом в таком месте, контекст которого вызывал в свое время недоумение: «рози нося им хоботы пашуть». Все это место переведено в издании 1800 г.: «Теперь знамена его [старого Владимира] достались одни Рюрику, а другие Давыду; их носят на рогах, вспахивая землю». Столь же бессмысленный перевод нашел Пуш-

---

<sup>1</sup> Переписка Пушкина, изд. Акад. наук, т. III, стр. 250, 256.

<sup>2</sup> Выражения: «каким побытом», «таким побытом» на каждом шагу встречаются в колоритной речи уральских казаков («Уральцы» Иосафа Железнова).

кин и у Вельтмана: «им отданы роги, хвосты землю па- шут!», притом с соответствующим объяснением: «певец Игоря выражает сими словами бедственное положение России; он хочет сказать, что цвет народа под знаме- нами Рюрика и Давыда, на войнах... *рогов* нет, остались одни *хвосты*<sup>1</sup>; сила России на Дунае, только слабые остались в домах своих». Таким переводом и вполне до- стойным переводом комментарием Пушкин, разумеется, не мог удовлетвориться и, повидимому, искал иного толко- вания. Действительно, впоследствии была найдена удач- ная конъектура<sup>2</sup>, в наше время всеми принятая: «рознь ся имъ хоботы пахуть», т. е. «их бунчуки (знамена) развева- ются врознь» (указание на разлад).

Вот еще один след внимания Пушкина к этому слову. Это коротенькая строчка, которую Пушкин набросал ка- рандашем на записке, полученной им в мае 1836 г. от П. Я. Чаадаева<sup>3</sup>: «въ хоботы — създи —».

#### IV

«Копіа поють», читаем мы непосредственно затем в Слове о полку Игореве. Быть может это выражение по- служило Пушкину для более удачного применения. В пьесе «Конь» («Песни Западных Славян»): «пенье стрел», — этой подробности нет в оригинале Меримэ («Le cheval de Tho- mas II»). В «Сказке о царе Салтане» тоже «стрела за- пела». «Выражение о копьях, что они поют, крайне слабо, ибо копья не брячат», писал один комментатор Слова.

<sup>1</sup> В своем романе «Святославич, вражий питомец», ч. I, М., 1835, стр. 62, и прим., стр. 22, Вельтман снова объяснил (правильно), что хобот — хвост.

<sup>2</sup> См. Потебня, стр. 133—134.

<sup>3</sup> На эту строчку любезно обратил мое внимание Д. П. Якубо- вич. Самая записка Чаадаева, которую устанавливается *terminus ante* quem заметки, хранится в ИРЛИ и давно напечатана (вошла в акад. издание Переписки Пушкина, III, стр. 315, № 1016).

«Но — возразил Потебня <sup>1</sup> — оно весьма изобразительно, если под ним понимать то, что понимал уже А. Пушкин, у которого *пенье стрел*». Наш поэт, разумеется, согласился бы с Потебней.

## V

Однажды Пушкин записал на узенькой полоске бумаги <sup>2</sup>: «Стуга то же, что туга. Как скопь — и копь». Эта заметка также относится к изучению Слова о полку Игореве, где два раза встречается один и тот же прекрасный образ, которым передается скорбь: «ничить трава жалошами, а древо *стугю* к земли преклонилося», «уныша цветы жалобою, и древо *стугю* к земли прѣклонило». Так напечатаны эти места в первом издании Слова <sup>3</sup>, бывшем первоисточником и для Пушкина. Как и многие тогда, поэт не догадался, что древний переписчик соединил два слова: с (предлог) и *тугою* (со скорбью), и, думая, что «стугю» такой же творительный падеж без предлога, как «жалошами», подыскал для объяснения формы, вызвавшей недоумение, аналогию в двух словах <sup>4</sup>, имеющих одинаковый смысл с тою же приставкою с и без нее.

## VI

Матушка Петруши Гринева знала наизусть все «свычай и обычай» своего мужа («Капитанская дочка», гл. I). Выражение это Пушкин заимствовал из Слова о полку Игореве. Князь Всеволод в чаду боя не обращает вни-

---

<sup>1</sup> Стр. 135.

<sup>2</sup> Хранится в бумагах А. А. Краевского, в ленинградской Публичной Библиотеке («Отчет И. Публ. библ. за 1889 г.», СПб, 1893, стр. 57).

<sup>3</sup> Стр. 18—19, 42—43.

<sup>4</sup> В «Толковом словаре» Даля приводится оба эти слова: и «скоп», и «коп».



мания на свои раны и не вспоминает ни почестей, ни своего наследного Чернигова, ни даже своей милой жены, «красныя Глѣбовны свычай и обычая». У Вельтмана Пушкин нашел плохой перевод: «забывшему... подругу прекрасную Глѣбовну, дружбу, привычки»<sup>1</sup>. С легкой руки Пушкина «свычай и обычай» в юмористическом освещении стали «крылатым словом»<sup>2</sup>.

---

---

<sup>1</sup> См. подробное объяснение у Потебни, стр. 48—50.

<sup>2</sup> М. И. Михельсон по праву включил его в свой известный сборник «Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии» т. II, стр. 229, № 34, причем привел только один пример, взятый из «Проселочных дорог» Д. В. Григоровича, упустив из виду «Капитанскую дочку» и переделав (двукратно) свычай в «свычки» (sic!). Нашли мы «свычай и обычай» также в повести Е. И. К. (Елены Иван. Вельтман, жены Ал. Ф-ча) «Лидия» (Москвитянин 1848, ч. III, № 6, кн. VI, стр. 80).

*Евг. Давыдов*

## ПИСЬМА И ЗАМЫСЛЫ

### I

Стих вяло тянется, холодный и туманный,  
Усталый, с лирою я прекращаю спор.

Так «вяло тянется, холодный и туманный», 1834 год на творческом пути Пушкина. Поэт молчит за весь этот сумеречный год: «усталый, с лирою» он «прекращает спор».

Один только лирический отрывок за весь год, — это — проникнутое горьким упреком стихотворение «Он между нами жил...», обращенное к Мицкевичу, недавнему другу-поэту, с которым

Делились мы и чистыми мечтами  
И песнями...

Мысль поэта ищет других путей. Пушкин намечает в 1834 году реальное осуществление давно поставленной задачи — дать историю Петра I.

Он почти уверен, что первые главы будут им закончены в этом году.

«К Петру приступаю со страхом и трепетом» — говорит он в письме к М. П. Погодину в начале года.

«Ты спрашиваешь меня о Петре? — пишет он жене в мае 1834 г., — скопляю материалы, привожу в порядок — и вдруг вылью медный памятник».

«Петр I-ый идет; того и гляди напечатаю 1-й том к зиме» — так он пишет 11 июня.

Полгода мысль Пушкина прикована вновь создавае-

мым реальным, исторически-правдивым обликом Петра, превознесенного им ранее в образах полуфантастического героя «Медного всадника» и «Полтавы».

«Державец полумира», «уздой железной» Россию поднявший «на дыбы», властелин, чей «лик... ужасен», — обращается в мудрого правителя, давшего «достойные удивления» государственные учреждения.

«Он прекрасен. Он весь, как божия гроза... могущ и радостен, как бой...» — так говорил поэт, создавая «Полтаву». Теперь рукою Пушкина-историографа отбрасываются эпитеты «прекрасный», и «радостный», и создается изображение тирана, чьи жестокие, самовластные указы, казалось, были «писаны кнутом».

Постепенно овладевал Пушкин исторической правдой, отрешаясь от поэтически-славословного образа Петра. «Я еще не мог доселе постичь и обнять умом этого исполина, — говорил Пушкин В. И. Далю при встрече с ним в Оренбурге в 1833 г., — он слишком огромен для нас близоруких, и мы стоим еще к нему близко, — надо отодвинуться на два века, — но постигаю его чувством».

Шла большая, углубленная работа над архивными материалами. Выписки, замечания, мысли в течение последних лет составили несколько тетрадей; к 1834 году относится только часть материалов.

Пушкин овладевал и языком, близким к эпохе Петра. Как летописец, заканчивает он черновой очерк первой главы «Истории Петра»: «Отселе царствование Петра единовластное и самодержавное».

Но какого углубления, какой сосредоточенности требует поставленная Пушкиным историческая задача! Для ее осуществления необходимы, как первое условие, нормально спокойная обстановка, свободная от семейных и материальных забот, свобода в высказываниях, свобода от всякой зависимости.

Всех этих условий нет в 1834 году. Это — один из самых гнетущих периодов для Пушкина по сгущенности

социальных противоречий, по обострению той зависимости, которая, по его выражению, «унижает нас», по стечению острых и неотложных забот, связанных с полным расстройством дел по имению отца, с поисками средств для существования семьи. К этому присоединяются непрерывные хлопоты в течение нескольких месяцев по напечатанию и изданию большого труда — «Истории Пугачева».

В этом году проходит и чрезвычайно тягостный по остроте переживаний эпизод с отставкой, когда Пушкин убеждается, что унижающая его зависимость и дальнейшие компромиссы по отношению к царю и его окружению неустраимы.

В этом же году царь надевает на поэта придворный мундир, — «полосатый кафтан», по ироническому замечанию Пушкина, — и наступает для него обязанность, морально его угнетающая, быть активным участником придворных церемоний.

Попытка к борьбе за освобождение от зависимости, от навязанного положения при дворе, кончаясь неудачей, ведет к ряду компромиссов в социальном поведении. «Спокойствия», необходимого для творчества, окончательно нет, почти все время уходит на семейные, денежные, хозяйственные и издательские хлопоты.

Образ Петра все более отходит из поля зрения Пушкина. В письмах Пушкина во второй половине 1834 года нет уже упоминаний о Петре I.

Правда, в следующем году Пушкин возвращается к теме о Петре, и эта тема продолжала его интересовать до конца 1836 года. Много времени он посвятил работе над источниками, настойчиво ища разрешения сложной проблемы Петра, — но так и не создалось благоприятных условий, и в результате, истории Петра I, написанной Пушкиным, мы не имеем.

Быть может, прав П. В. Анненков в своем предположении, что Пушкин «искал способа изобразить» Петра

согласно со своим собственным пониманием его», не оправдывая крутых и жестоких его деяний и в то же время «не оскорбляя официального мира, ожидавшего безусловной апофеозы преобразователя». «Пушкин так и умер, — замечает Анненков, — не отыскав способа примирить эти два совершенно противоположные требования».

Сомнения в возможности дать исторически верный облик Петра высказывал и П. А. Вяземский в своих замечаниях о Пушкине как историке. «Пушкин, — по его словам, — перенес бы себя во времена Петра и был бы его живым современником; но был ли бы он законным и полномочным судьей Петра и всего, что он создал? Это другой вопрос». «Не берусь решать его, — добавляет Вяземский, — ни в утвердительном, ни в отрицательном отношении».

## II

Начало 1834 года резкой чертой определяет социальное положение Пушкина. С пожалованием его в придворное звание он включается в круг придворного общества и входит в раззолоченное окружение трона, которое является внешним выразителем блеска и пышности самодержавного режима.

Пушкин то с возмущением, то с иронией говорит и в письмах и в дневнике о своем придворном звании. Но если принципиально он не приемлет навязанного ему положения, то фактически он остается в этом звании, несмотря на попытки добиться отставки и уехать в деревню.

«Двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове» (Аничковском дворце) — так лаконично объяснил Пушкин в дневнике мотивы своего пожалования.

Пушкин пытался убедить себя, что в этом факте не было глумления над ним. В том же дневнике он заме-

чает, что царь, конечно, не имел намерения сделать его смешным.

В этом Пушкин, пожалуй, был прав. Здесь не могло быть умышленного издевательства со стороны Николая I, — здесь было проявление того неограниченного «самовластия», которое требовало всеобщей субординации, признавало человеком только облеченного в мундир. Тем более не мог не иметь мундира тот, кого желали приблизить к особе царя.

Была еще одна неприятная сторона в пожаловании камер-юнкером. Этот первый придворный чин давался обычно молодым людям, имевшим придворные связи, в начале их служебной карьеры. Пушкину на 35-м году появляться в кругу этой раззолоченной молодежи представлялось крайне оскорбительным. Он избегает, когда только можно, официального участия в церемониях. За пять дней до торжества по случаю открытия Александровской колонны 30 августа 1934 г. он спешно уезжает к жене на Полотняный завод.

«Ни за что не поеду представляться с моими товарищами камер-юнкерами — молокососами 18-ти летними, — записал он 5 декабря 1834 г. в дневнике, — царь рассердится — да что мне делать?»

Есть свидетельства современников, что Пушкин был вне себя, когда ему сообщили новость о его пожаловании и что друзьям его стоило больших усилий удержать его от проявления резкого протеста против подобной «монаршей милости».

Но порыв гнева прошел, и Пушкин формально подчинился. Для выражения своего протеста он избрал иной путь, и в этом отношении характерны его записи в дневнике за 1834 и 1835 годы.

Если внешне с самого начала года Пушкин ведет светскую жизнь, сопровождая свою жену на рауты и балы. устраиваемые при дворе и высшей знатью, то мысль его все время занята осуществлением тех серьезных историо-







графических планов, которым с таким увлечением и настойчивостью отдается он за эти годы.

«История Пугачева» написана им вчерне в течение 1833 года, но он продолжает свою работу над материалами о Пугачеве, ведет переписку по этому вопросу, в частности с Д. М. Бантыш-Каменским, И. И. Лажечниковым, и дополняет свой труд новыми данными. Много времени он посвящает глубоко интересующей его работе над материалами о Петре I.

Эта сосредоточенность в работе над историческими документами свидетельствует о том, что Пушкин не оставлял мысли стать историографом, — мысли, которую он высказал в негативной форме еще в 1831 году, в письме к Бенкендорфу:

«Не смею и не желаю взять на себя звание историографа после незабвенного Карамзина. Но могу исполнить давнишнее свое желание написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III».

«Не смею и не желаю» — было фразой условного приличия.

Положение историографа не только определяло бы направление дальнейшей литературной работы Пушкина, но обеспечило бы его и материально, избавило бы от тех тревог за будущее семьи, которые он высказывает в письмах к жене:

«Умри я сегодня, что с вами будет! Мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане и еще на тесном Петербургском кладбище...»

Определенный материальный интерес связан и с изданием «Истории Пугачева». Угнетаемый долгами и запутанностью своих дел, Пушкин хлопочет о правительственной ссуде по изданию и обращается к Бенкендорфу с просьбой о выдаче ему из казны заимообразно 20 000 руб. с уплатой их в два года. Письмо отправлено 26 февраля, а 4 марта Бенкендорф дает уже ответ, что государем ссуда разрешена.

Одновременно с этим М. М. Сперанскому сообщается о дозволении царя печатать «Историю Пугачева» в одной из подведомственных Сперанскому типографий, и Пушкин получает от Бенкендорфа уведомление, что царь одобрил второй том «Истории» за исключением нескольких мест, где им «собственноручно» сделаны отметки. Самое заглавие оказывается неприемлемым, и «Историю Пугачева» Николай переименовал в «Историю Пугачевского бунта».

Печатание «Истории Пугачева» задержало Пушкина в Петербурге на все лето. Семья его уехала еще в половине апреля в Москву и все лето провела на «Полотняном заводе», имени Гончаровых в Калужской губернии.

Пушкин остался один до осени.

Одиночество на этот раз не радовало Пушкина. Оно не создало тех благоприятных условий, как это было осенью 1830 года в далеком уединенном Болдине. Для творчества одинокие дни северного лета в Петербурге прошли бесследно: ничего, кроме забот семейных, денежных и деловых по изданию «Истории Пугачева».

С середины лета начинается печатание Пугачева, и день за днем проходят для Пушкина в правке корректуры.

«Я работаю до низложения риз, — писал он в июле жене. — Держу корректуру двух томов вдруг, пишу примечания... Сейчас принесли мне корректуру, и я тебя оставил для Пугачева».

Несмотря на одиночество, Пушкина не влечет к недавним привычкам холостой жизни.

«Холостой, холостой Пушкин!» — встретили его радостными возгласами друзья, когда он попрежнему зашел обедать к Дюме. Стали потчевать его шампанским, спрашивать, не поедет ли он, как в былые годы, к «Софье Астафьевне»?

«Все это меня смутило, — признавался Пушкин жене, — так что я к Дюме являться уже более не намерен и обе-

даю сегодня дома, заказав Степану ботвинью и бифштекс».

Заходя после этого снова к Дюме, он нарочно изменяет свой обычный час и обедает раньше, часа в 2, чтоб не встретиться «с холостой шайкой».

В июне Петербург пустеет. «Все на дачах, а я сижу дома до 4 часов и пишу».

По утрам Пушкин ходит в Летний сад. «Да ведь Летний Сад — мой огород. Я, вставши от сна, иду туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нем, читаю и пишу, я в нем дома».

Он настолько отвыкает от «света», что, приехав на бал австрийского посланника Фикельмона, чувствует себя крайне неловко. «Вот вчерась, как я вошел в освещенную залу с нарядными дамами, то я смутился, как немецкий профессор: насилу хозяйку ншел, насилу слово вымолвил. Потом осмотревшись, увидел я, что народу не так-то много и что бал этот запросто, а не раут... Вот наелся я мороженого и приехал [к] себе домой в час».

«Кажется, не за что меня бранить, — обращается он к жене. — О тебе в свете много спрашивают и ждут очень. Я говорю, что ты уехала плясать в Калугу. Все тебя за это хвалят. И говорят: ай да баба! — а у меня сердце радуется».

Из всех искушений только перед одним не мог устоять Пушкин: перед влечением к азартной игре. Страстный игрок, каким его характеризовал в своих записках А. Н. Вульф, проявился снова, хотя и на короткое время.

«Я перед тобой кругом виноват в отношении денежном, — каюсь Пушкин перед женой. — Были деньги и проиграл их».

Это совпало с днями тех острых переживаний, которые предшествовали подаче им прошения об отставке. В эти дни Пушкин не имел совершенно покоя: «Здесь меня тербят и бесят без милости. И мои долги и чужие мне покоя не дают».

Необходима была твердая воля, чтобы удержаться в Петербурге и не уехать, бросив все, к семье на Полотняный завод: «Туда бы от жизни удрал!» — вырывается у него искреннее признание.

Но он все же не едет и ищет временного отвлечения от беспокойных мыслей. «Я так был желчен, что надобно было развлечься чем-нибудь», — оправдывает он свое неожиданное возвращение к карточной игре.

«Я привык опять к Дюме и Английскому клубу, а этим нечего хвастаться».

### III

В письмах к жене, — дружеских, откровенных, — чувствуется в то же время беспокойная мысль, не всегда высказываемая Пушкиным и маскируемая шутиливой формой.

Это — постоянное беспокойство за поведение Наталии Николаевны, недостаточно выдержанное, иногда кажущееся ему легкомысленным, за сохранение той привязанности с ее стороны, которая, по видимому, успела окрепнуть за четвертый год совместной жизни и так легко могла порваться при головокружительном успехе Наталии Николаевны в высшем свете.

Расставаясь с женой, Пушкин чувствует, что она уходит из-под его влияния. Его письма полны наставлений, то трогательных по своим заботам, то довольно решительных, когда он недоволен ее поведением.

Он недоверчиво относится к ее как-будто откровенным признаниям в письмах и то иронически, то с некоторым беспокойством отзывается на новые ее знакомства, особенно, когда в своих письмах она заполняет «лист кругом подробного описания» этих встреч.

Вот, например, одно из характерных наставлений в письме от 22 апреля 1834 года, когда она уехала в Москву:

«Не таскайся по гуляньям с утра до ночи, не пляши

на бале до заутрени. Гуляй умеренно, ложись рано. Не читай скверных книг дединой библиотеки, не марай себе воображения, женка».

Иногда наставления принимают строгий, решительный характер: «кокетничать я тебе не мешаю, но требую от тебя холодности, благопристойности... не говоря уже о беспорочности поведения».

Но Пушкин понимал, насколько тщетными оставались его наставления, и постоянно находился под властью сомнений. Даже держа в руках портрет жены и вглядываясь в ее черты, он делает приписку в письме: «цалую твой портрет, который что-то кажется виноватым».

Беспокойство и подозрения овладевают Пушкиным, как только он не получает писем от жены.

«Где ты? что ты? — пишет он в июле. — «Что так могло тебя занять и развлечь? какие балы? какие победы? уж не больна ли ты? Или просто хочешь меня заставить скорее к тебе приехать? Пожалуйста, женка, — брось эти военные хитрости, которые не в шутку мучат меня за тысячу верст от тебя». «Возвращаюсь домой рано, надеюсь найти от тебя письма, и всякий день обманываюсь. Тоска, тоска!»

Другое письмо, написанное в июле, т. е. после трехмесячной разлуки с женой, выдает его беспокойную мысль о том, что Наталья Николаевна могла измениться в отношениях к нему. «Надеюсь, что ты передо мной чиста и права, — говорит он ей, — и что мы свидимся, как расстались».

Эти сомнения становятся более понятными, если вспомнить, что 1834 год совпадает с блестящим успехом Натальи Николаевны при дворе. В январе 1834 года после пожалования Пушкина в придворное звание состоялось официальное представление Н. Н. Пушкиной ко двору, и после этого Пушкины приглашались на придворные балы, не исключая интимных балов в Аничковом дворце. Это было завершением тех успехов в большом свете, которые

сопровождали появление Пушкиной на балах, начиная с 1831 года.

«Жена Пушкина сияет на балах и затмевает других» — писал князь П. А. Вяземский А. И. Тургеневу в сентябре 1832 г.

Как сильно было впечатление, производимое Натальей Николаевной в светском обществе, можно видеть из того портрета, который набросал граф В. А. Соллогуб в своих воспоминаниях: «Много видел я на своем веку красивых женщин еще обаятельнее Пушкиной, но никогда не видывал я женщины, которая соединила бы в себе такую законченность классически правильных черт и стана. Ростом высокая; с баснословно тонкой талией, при роскошно развитых плечах и груди, ее маленькая головка, как лилия на стебле, колыхалась и грациозно поворачивалась на тонкой шее... Да, это была настоящая красавица, и недаром все остальные, даже из самых прелестных женщин, меркли как-то при ее появлении...» «Я с первого же раза без памяти в нее влюбился» — добавляет Соллогуб.

«Грациозной, стройно созданной, богинеобразной, мадонистой» — называет Жуковский Наталью Николаевну в своем письме от 30 января 1834 г., в котором он приглашал Пушкиных на свои именины вместе с Карамзиными, Вяземскими, Виельгорскими и Смирновыми.

При облике, напоминавшем античные статуи, — «Евтерпу Луврского музея», — по замечанию одного современника, — в характере Натальи Николаевны не было серьезных, положительных черт.

По наблюдению дочери Карамзина, княгини Е. И. Мещерской, Наталья Николаевна отличалась легкомыслием, самоуверенностью и беспечностью в такой мере, что совершенно не замечала «той борьбы и тех мучений, какие выносил ее муж».

Тщетными оставались слова Пушкина, скорее просьбы, обращенные к жене: «Побереги же и ты меня. К хлоп-

там, неразлучным с жизнью мужчины, не прибавляй беспокойств семейственных...»

#### IV

В конце июля Пушкин с облегчением сообщил жене, что дела его подвигаются, что два тома «Истории Пугачева» печатаются сразу. Он очень занят в это время и работает с самого утра до 4 часов дня, выправляя корректуры. Осталось еще просмотреть 9 листов, и скоро наступит ожидаемый момент, когда можно будет подписать: «печатать» — и выехать к жене и детям.

Но работа несколько затягивается, и только в конце августа, почти накануне именин Натальи Николаевны, он может наконец бросить Петербург и покончить со столь тягостным одиночеством.

Несомненно, что это одиночество не столь тяготило бы Пушкина, если бы снова его захватило то творческое настроение, которое наполняло глубоким содержанием дни его отшельничества в Михайловском в 1824-1826 годах и в Болдине в 1830 году. Но 1834 год дает длительный разрыв в творческой деятельности Пушкина.

«Поэзия, кажется, для меня иссякла, — пишет он в октябре 1834 г. в ответном письме А. А. Фукс, приславшей ему свои стихи. — я весь в прозе, да еще в какой! право, совестно; особенно пред вами!»

Эти строки Пушкин написал по возвращении из Болдина. Коротко и быстро пронеслись Болдинские дни 1834 года, не оставив почти следа в творчестве Пушкина. Золотая Болдинская осень 1830 года, отягченная богатыми плодами, второе «Болдино» 1833 года, также творческое и «плодоносное», — отошли в прошлое. Поиски осенних творческих настроений в третий раз в отдаленном Болдине оказались тщетными.

«Коли нет — так с богом в путь» — решает Пушкин перед отъездом из Болдина. Но трудно примириться с

творческим упадком, и Пушкин ищет компромиссного выхода: «да и в самом деле: неужто близ тебя не распишусь» — обращается он к жене.

Иронией звучит надежда «расписаться» близ Натальи Николаевны, когда день за днем он должен сопровождать ее с бала на бал и проводить время в светских салонах.

Только увеличения забот мог ожидать Пушкин по возвращении из Болдина. Не обращая внимания на его доводы, Наталья Николаевна настояла на своем и перевезла к себе на петербургскую квартиру своих сестер Екатерину и Александру Гончаровых. В то же время состоялся переезд Пушкина из дома Оливье на Пантелеймоновской ул. в дом Баташева у Прачешного моста по Дворцовой набережной.

Среди этих семейных хлопот подошло 19 октября, традиционный день встречи с лицейскими друзьями. Это могло быть поводом, чтобы дать новые стихи, подобные 19 октября 1825 и 1831 г.

Но Пушкин промолчал. Да и самый праздник прошел мало заметно, в слишком тесном кругу.

Тем робче старый круг друзей  
В семью стесняется едину,  
Тем реже он...

Собрались у М. Л. Яковлева всего семеро, считая хозяина: Пушкин, Данзас, бар, Корф, Комовский, Матюшкин, Стевен. Илличевского ждали, но он заболел и не мог прийти. Из далекой Сибири, из ссылки, пришло приветствие от И. И. Пущина через кн. Е. И. Трубецкую: «Несмотря на отдаление, он мысленно в вашем кругу», — писала Трубецкая.

## V

Во время пребывания Пушкина в Болдине (13 сентября — 1-ая половина октября 1834 г.) его навещал А. М. Языков, брат поэта. Пушкин, по его словам, «по-



казывал» ему «Историю Пугачева» и «несколько сказок в стихах». Здесь — очевидная неточность: закончена в Болдине осенью 1834 года только одна сказка «О золотом петушке» (20 сентября, за шесть дней до приезда Языкова).

Завершение «Сказки о золотом петушке» — единственный результат Болдинской осени.

Сказка была начата раньше. Имеется черновая запись ее в одной тетради с произведениями 1833 года. Непосредственно к 1834 году относится черновая рукопись, включающая в себе текст сказки, начиная со стихов:

Год другой проходит мирно —  
Петушок сидит все смирно. . . .

Язык, стиховое построение «Золотого петушка» дают ярко выраженный характер народной сказки. Но, несмотря на народно-сказочную форму, сюжет «Золотого петушка» заимствован не из народных сказаний.

Вопрос об источниках этой сказки долгое время оставался невыясненным, и только с опубликованием А. А. Ахматовой ее исследования<sup>1</sup> можно с достоверностью утверждать, что сюжет заимствован из иностранного источника. Тема и отдельные положения «Сказки о золотом петушке» повторяют фабулу «Легенды об арабском звездочете» из Альгамбрских сказок Вашингтона Ирвинга. Сказки эти имелись в библиотеке Пушкина на французском языке и могли быть им использованы как источник для «Золотого петушка».

Заимствованная тема подверглась значительной переработке. Часть сказки, изображающая посылку царем Дадоном одной рати за другой, то во главе со старшим сыном, то с младшим, поход самого царя Дадона и его

---

<sup>1</sup> Анна Ахматова. Последняя сказка Пушкина. — «Звезда» 1933, № 1.

встречу с Шамаханской царицей, составляет оригинальное творчество Пушкина.

В первоначальном тексте сказки имелся стих:

Но с царями плохо вздорить...

и сказка заканчивалась поучением:

Сказка ложь, да нам урок,  
А иному и намек.

Пушкин на себе испытал, как «плохо вздорить с царями», и первоначальный стих имел определенно автобиографический характер. Под «иным» Пушкин явно разумел Николая; к нему был обращен «намек» в фантастическом изображении гибели Дадона, не сдержавшего своего царского слова.

Пушкин, предвидя цензурные затруднения, вычеркнул эти строки и замаскировал ясно выраженную сентенцию, заменив ее стихом:

Но с иным накладно вздорить...

и дав новую концовку:

Сказка ложь, да в ней намёк!  
Добрым молодцам урок.

Таким образом устранялась подчеркнутость политического смысла сказки и исчезала совершенно какая-либо параллель между сказочным царем Дадонем и Николаем.

Но концовка и в таком виде не была пропущена цензурой. Безусловному запрещению подвергся также слишком недвусмысленный возглас золотого петушка: «царствуй, лежа на боку!»

Цензура не ошиблась, увидя в этой фразе острие политической сатиры, проходящей через все содержание сказки.

Но заботливость была излишне усердной. Николай I мог счесть эту фразу дерзкой, но отнести к себе не мог.

Пущенная стрела не могла попасть в монарха, слишком активно проявлявшего в своей деятельности волю и власть самодержца. Нельзя было отнести ту же фразу и к Александру I, который тоже не мог «царствовать лежа на боку», когда надвигались грозные события 1812 года, когда и в последующие годы он, «властитель слабый и лукавый... нечаянно пригретый славой», должен был «силою вещей» сыграть историческую роль в борьбе с Наполеоном.

Острые сатиры оказались направленным вообще против монархического режима, где правитель предается беспечности и лени, тешится с «шамаханскими» чаровницами, тогда как все тяготы ложатся на народ, войско и служилых людей. Общей сентенцией звучал и предостерегающий «намёк», что и для царей неминуемо возмездие за нарушение царского слова и самовластные расправы (последняя сцена царя Дадона со звездочетом).

Этим и исчерпывается политический смысл «Золотого петушка», не имеющего в целом специальной направленности еще и потому, что сюжет и отдельные положения сказки Пушкиным заимствованы. Царь Дадон и мудрец — это те же Абен-Габуз и звездочет из Альгамбрских сказок Ирвинга, но облеченные в пестрое одеяние русской народной сказки.

«Сказка о золотом петушке» — последняя из сказочного цикла Пушкина за 1831—1834 гг., в который вошли сказки «О царе Салтане», «О попе и его работнике Балде», «О мертвой царевне и о семи богатырях» и «Сказка о рыбаке и рыбке».

Кроме «Сказки о золотом петушке» к законченным в 1834 г. художественным произведениям относится только повесть «Кирджали», задуманная еще в 1823 г. во время пребывания в Кишиневе.

«Вообще пишу много про себя, а печатаю по-неволе и единственно для денег, — писал Пушкин М. П. Погодину в начале апреля, — охота являться перед публикой, кото-

рая вас не понимает, чтоб четыре дурака ругали вас потом шесть месяцев в своих журналах...»

К незавершенной творческой работе 1834 г. в значительной части относятся записки на тему о сочинении Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», известные со времени Анненковского издания сочинений Пушкина под наименованием «Мысли на дороге». Записки, объективно, по их буквальному пониманию дающие представление об отходе Пушкина на консервативные позиции, особенно в высказываниях о ведущей роли правительства в области образования и просвещения, о значении цензуры, о преимуществе социальных изменений, происходящих от «улучшения нравов», а не от «потрясений политических, страшных для человечества» (главы «Торжок», «Русская изба», «Шоссе»), были начаты Пушкиным в 1833 году и продолжены им в 1834 и 1835 годах, но остались незавершенными.

Позднее, в 1836 году, Пушкин вернулся к теме о Радищеве и написал для издававшегося им журнала «Современник» статью «Александр Радищев», но статья не была пропущена цензурой и в печати не появилась.

Постановка такой темы, как политические взгляды Радищева, автора запрещенного за революционность «Путешествия в Москву», — сама по себе свидетельствовала о постоянстве обостренного интереса Пушкина к революционным проявлениям, как в мысли, так и в действии, притом интереса не исследовательского порядка, а действительного, обнаруживающего неизменность революционного начала в самом Пушкине.

Этим фактом, т. е. постановкой самой темы, продолжается одна и та же линия, ведущая от революционных стихотворений после-лицейского периода к «Андре Шенье», «Посланию в Сибирь», к теме бунта в «Дубровском», «Медном Всаднике», в «Истории Пугачева», в «Сценах из рыцарских времен» и, наконец, к мыслям о Радищеве.

В таком преломлении теряют определенность своей

окраски консервативные высказывания в «Мыслях на дороге» и приобретают характер политического компромисса.

Признавая реальную силу установившегося режима, Пушкин видит в нем историческую необходимость; в творчестве Пушкина последних лет не находят себе отклика воодушевлявшие его прежде революционные идеи, и мысль его обращена к тем прогрессивным стремлениям, которые не связаны с «потрясениями политическими, страшными для человечества».

Все выдержки его из «Путешествия» Радищева, которые относятся к бесправному положению крестьян (главы «Черная Грязь», «Городня», «Медное», «Вышний Волочек», «Русская изба»), взятые в целом, должны были вновь привлечь общественное внимание к мрачной картине угнетения крестьянства и самовластия помещиков. Примеры из крепостного быта, приводимые наряду с этим самим Пушкиным, подтверждали, что произвол и издевательство над человеческой личностью не отошли еще к далеким временам Радищева.

В черновой рукописи главы «Шоссе» Пушкин отмечает, что он «начал записки свои не для того, чтобы льстить властям». И он, действительно, не льстит властям, когда приводит выдержки из «Путешествия» Радищева, клеймящего крепостной режим, или когда, воспроизведя текстуально отрывок из Радищева о продаже крестьян с публичного торга, говорит: «картина ужасная тем, что она правдоподобна. Не стану теряться вслед за Радищевым в его надутых, но искренних мечтаниях... с которыми на сей раз соглашаюсь поневоле».

Замечательны также мысли Пушкина в той части записок, которая известна под наименованием «Разговора с англичанином». Под видом мнения англичанина, своего собеседника в пути до станции Клин, Пушкин так высказывается об эксплуатации английских рабочих: «прочтите жалобы. Английских фабричных работников — во-

лоса станут дыбом. Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, — о евреях, работающих под бичами Египтян. — Совсем нет: дело идет об сукнах г-на Смидта или об иголках г-на Томпсона (сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой, какая страшная бедность!). Те же мысли, но без ссылки на «англичина», повторены Пушкиным и в главе «Русская изба».

---

Из статей и записок, датируемых 1834 годом, остались также незаконченными статья о русской литературе с очерком французской и замечания к «Слову о полку Игореве».

Характеризуя в своей статье литературно-философское течение XVIII века, вдохновляемое во Франции Вольтером, Пушкин остается на тех же позициях, как и в «Мыслях на дороге», и критически оценивает разрушительное влияние Вольтера на умы, — того Вольтера, который всю жизнь оставался для Пушкина образцом высокого поэтического искусства.

«Любимым орудием» философии XVIII века, говорит Пушкин, «была ирония холодная и остроумная и насмешка бешеная и площадная... Весь его (Вольтера) разрушительный гений со всей свободой излился в циничной поэме, где все высокие чувства, драгоценные человечеству, были принесены в жертву демону смеха и иронии».

«Влияние Вольтера было невероятно... Умы возвышенные следуют за ним. Задумчивый Руссо провозглашает себя его учеником; пылкий Дидрот есть самый ревностный из его апостолов... Смерть Вольтера не останавливает потока — Бомарше влечет на сцену, раздевает до-нагà и терзает все, что еще почитается неприкосновенным».

В связь с этим разрушительным течением Пушкин ставит упадок французской литературы.

Переходя к «изучению нашей словесности», он указывает на отрицательное влияние французской литературы конца XVIII века: «Знаменитые писатели не имеют ни одного последователя в России, но бездарные писаки, грибы, выросшие у корней дубов: Дорат, Флориан, Мармонтель, Гишар, м-м Жанлис овладевают русской словесностью».

Таким размышлением кончается краткий отрывок о «русской словесности», и только из оставшихся набросков плана можно в известной степени судить о развитии темы по обзору русской литературы с начальных ее времен.

«К сожалению, старой словесности у нас не существует, — замечает Пушкин. — За нами темная степь — и на ней возвышается единственный памятник: «Песнь о полку Игореве».

Пушкин с глубоким интересом изучал этот древний литературный памятник. Замечания его на «Слово о полку Игореве», датируемые 1834 годом, свидетельствуют о начале им большого труда по толкованию и переводу «Слова».

Нарастание одного замысла за другим мешало Пушкину отдаться всецело одной из намеченных им больших тем. Можно предполагать, что в 1834 году Пушкин, кроме своих исторических трудов, работал над планами романа, озаглавленного в рукописи условным наименованием «Русский Пелам» и повестей «О стрельце и боярской дочери» и о «Сыне казненного стрельца». На ряду с этим все более определенно развивается в различных вариантах план большого произведения в прозе — художественной переработки материалов по восстанию Пугачева. Этот план нашел себе окончательное воплощение в романе «Капитанская дочка».

VI

Почти накануне 1834 года произошло событие, которое, казалось, должно было повести к полному разрыву Пушкина с властью.

Завершив в Болдине «Медного Всадника», Пушкин представил свой творческий труд в порядке «высочайшей» цензуры на благоусмотрение Николая.

Поэму о Петербурге и его основателе, «великом» Петре, первым читал тот, в ком, по замечанию в «дневнике» Пушкина, было «много прапорщика и мало Петра Великого».

Замечания, конечно, последовали и соответствовали подлинному характеру цензуры. Запрещены были те органически спаянные со всей поэмой места, без которых поэт не мог печатать своей «петербургской повести»; запрет их означал запрет всего произведения.

Нет точных данных, что переживал Пушкин, получив цензурный экземпляр, но в письмах и дневнике, отзываясь о происшедшем, он краток и деловит.

«Мне возвращен «Медный Всадник» с замечаниями государя, — заносит он в свой дневник 14 декабря 1833 г. — Слово „кумир“ не пропущено высочайшей цензурой, стихи:

И перед младшею столицей  
Померкла старая Москва,  
Как перед новою царицей  
Порфиросная вдова —

вымараны. На многих листах поставлен [?] — все это делает мне большую разницу. Я принужден был переменить условия со Смирдиным».

И только.

В письме к Нащокину еще более усиливается прозаическая оценка запрещения «Медного Всадника». Пушкин характеризует происшедшее как «денежные неприятности».

Другое событие происходит в 1834 году. По своему



характеру оно соответствует режиму бесправия и не могло быть неожиданностью для Пушкина. Тем не менее Пушкин крайне обостренно воспринимает слишком близко коснувшийся его акт произвола, и долго не утихают в нем негодование и протест против правительственной системы. Протест гражданина острее и глубже проявляется в Пушкине, чем протест поэта, создавшего «Медного Всадника».

Из записки, полученной от Жуковского в начале мая, Пушкин узнал, что письмо его «ходит по городу» и что Николай говорил по содержанию письма с Жуковским. Оказалось, что в порядке политического надзора было вскрыто на почте письмо Пушкина к жене, представлено выше по инстанциям и дошло до царя.

В этом письме, посланном из Петербурга в Москву 22 апреля, имелись такие строки:

«Все эти праздники просижу дома [дни пасхи]. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен, царствие его впереди, и мне, вероятно, его не видать. Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой; с моим тезкой я не ладил. Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи, да ссориться с царями!»

Эти мысли, интимно высказанные в беседе с женой, стали общим достоянием — и царя, и жандармов, и двора.

Произвол цензуры Пушкин принимал как неизбежное зло. Цензура была официальным установлением, тайная же перлюстрация его писем к жене — это был уже бесчестный прием.

И в таких действиях участвовал тот царь, которого в первые годы правления Пушкин приветствовал своими «Стансами»:

Во мне почтил он вдохновение,  
Освободил он мысль мою,  
И я ль, в сердечном умиленьи,  
Его хвалой не воспую?

тот, о ком поэт сказал: «он бодро, честно правит нами».

Теперь иные мысли выходят из-под пера Пушкина, и в своем дневнике он дает достойную оценку и царю, и полицейскому режиму. Характерны заключительные строки этой записи: «мудрено быть самодержавным».

«Самодержавие» Пушкин представлял себе как власть, стоящую вне интриг, сыска и полицейских приемов. Но неоспоримые факты говорили другое: Николай, «самодержец», активно участвовал в позорном акте перлюстрации и не стыдился «в этом признаться».

Пушкин долго не может найти успокоения. Он опасается, что все письма его подвергаются перлюстрации. В письмах к жене постоянно возвращается он к этой теме: «Я не писал тебе потому, что свинство почты так меня охолодило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство à la lettre. Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности (*inviolabilité de la famille*) невозможно. Ка-торга не в пример лучше».

Через несколько дней он снова пишет жене: «будь осторожна, вероятно, и твои письма распечатывают» и добавляет с иронией: «этого требует государственная безопасность».

Только письмо от 11 июня говорит о некотором примирении: «на того [т. е. царя] я перестал сердиться, потому что, *toute reflexion faite*<sup>1</sup>, не он виноват в свинстве, его окружающем».

Это компромиссное рассуждение склоняет Пушкина к дальнейшему примирительному отношению к Николаю.

---

<sup>1</sup> По всестороннем обсуждении.

Тем не менее горечь происшедшего не изжита, она обостряет беспокойную мысль о гнетущей зависимости, о безысходности материального положения. Горестные раздумья о своей зависимости поэт передает в письмах к жене, ища в ней дружеского отклика.

«Зависимость и расстройство в хозяйстве ужасны, — говорит он в письме, — и никакие успехи тщеславия не могут вознаградить спокойствия и довольства».

«Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас» — добавляет он в другом письме.

«Я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами». Это сознание унижительности службы заставляет Пушкина искать развязки в разрыве со своим официальным положением и правящими сферами.

## VII

Оскорбленный перлюстрацией его переписки, Пушкин в письмах к жене начинает говорить об отставке:

«Плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да ударить в Болдино». «Погоди, в отставку выйду, тогда переписка нужна не будет». Эта мысль приобретает все более настойчивый характер. С нею связываются заботы о семье и об имении отца.

«Я крепко думаю об отставке... Должен подумать о судьбе наших детей. Имение отца, как я в том удостоверился, расстроено до невозможности и только строгой экономией может еще поправиться. Я могу иметь большие суммы, но мы много и проживаем».

Под влиянием «крепкой думы» об отставке 25 июня Пушкин послал шефу жандармов графу Бенкендорфу короткое письмо (на французском языке) с просьбой об отставке:

«В виду того, что семейные дела вызывают необхо-

димось моего присутствия то в Москве, то в провинции, — я вижу себя вынужденным подать в отставку и убедительно прошу В. Пр-во исходатайствовать на то соизволение». Вместе с тем Пушкин просил о сохранении за ним права посещать архивы.

Письмо об отставке было принято царем как непочтительный вызов, как личная обида. Среди друзей Пушкина оно вызвало своей неожиданностью крайнее беспокойство.

Официально Николай решил не препятствовать уходу Пушкина в отставку. «Я никогда не удерживаю никого и дам ему отставку, — сказал Николай Жуковскому, — но в таком случае все между нами кончено».

В этих словах была уже скрытая угроза.

Слова царя о нежелании кого-либо удерживать против воли были подтверждены и Бенкендорфом в письме от 30 июня, в котором он извещал Пушкина об удовлетворении его просьбы царем и о запрещении в дальнейшем посещать государственные архивы, «так как право сие может принадлежать единственно людям, пользующимся особенною доверенностью начальства».

Чрезвычайно был взволнован происшедшим Жуковский.

«Глупость, досадная, эгоистическая, неизглаголанная глупость! — писал он с возмущением Пушкину. — Как мог ты, приступая к тому, что ты так искусно состряпал, не сказать мне о том ни слова, ни мне, ни Вяземскому — не понимаю!»

Жуковский предпринял решительные шаги, чтобы ликвидировать инцидент с отставкой. Он имел разговор с царем и заботливо ставил вопрос: «нельзя ли как это поправить?» Совершенно был он растроган ответом, что поправить можно и что Пушкину предоставляется взять свое письмо обратно.

Спеша сообщить об этом Пушкину, он добавляет: «никак не воображал, чтобы была еще возможность попра-

вить то, что ты так безрассудно соблаговолил напако-  
стить». Из смысла письма Жуковского вытекало, что по-  
ступок Пушкина является непростительной неблагодар-  
ностью по отношению к царю.

Такая постановка вопроса беспокоила и Пушкина. Подобное толкование его просьбы об отставке было для него неприемлемо, решающим же моментом для дальней-  
ших его действий была угроза запрещения пользоваться архивом.

Этим была бы обречена на неудачу задуманная им «История Петра». Немыслимы становились и другие исто-  
рические труды.

Чувствуя что «с царями плохо вздорить», Пушкин по-  
спешил послать Бенкендорфу 3 и 4 июля одно за другим  
два письма. В первом из них он просил не давать хода за-  
явлению об отставке: «Я предпочитаю скорее быть непо-  
следовательным, чем неблагодарным» — оправдывался он  
перед Бенкендорфом.

Во втором письме Пушкин, уступая наставлениям Жу-  
ковского, находит, наконец, слова, которые, по существо-  
вавшим понятиям, приличествовали при обращении к царю.

Прошение об отставке он называет необдуманном, вы-  
ражает опасение, что его поступок мог показаться «безум-  
ной неблагодарностью и супротивлением воле того, кто  
дныне был более... благодетелем, нежели государем».

Пушкин спешит оправдаться перед Жуковским. «По-  
дал в отставку я в минуту хандры и досады на всех и на  
все. Я право сам не понимаю, что со мной делается. Идти  
в отставку, когда того требуют обстоятельства, будущая  
судьба всего моего семейства, собственное мое спокой-  
ствие — какое тут преступление, какая неблагодарность?  
Но государь может видеть в этом что-то похожее на то,  
чего понять все-таки не могу».

Письмо к Жуковскому оказалось также в руках у Бен-  
кендорфа, который представил письма Пушкина Николаю  
при докладной записке.

«Так как он сознается в том, что сделал просто глупость и предпочитает казаться лучше непоследовательным, нежели неблагодарным,—докладывал Бенкендорф, то я предполагаю, что В. В. благоугодно будет смотреть на его первое письмо, как будто его вовсе не было... Лучше, чтобы он был на службе, нежели предоставлен самому себе».

Царь на записке Бенкендорфа дал резкий отзыв о поведении Пушкина.

— «Я его прощаю, но пригласите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться... что могло бы быть простиительно двадцатилетнему безумцу, не может быть извинительно человеку тридцати пяти лет, мужу и отцу семейства».

Жуковского не удовлетворили ни объяснения Пушкина, ни тон его письма к Бенкендорфу. Выведенный из терпения неподатливостью Пушкина и его непониманием, как надо обращаться к царю, он излил свое возмущение в весьма откровенных выражениях:

«Я право не понимаю, что с тобой сделалось, ты точно поглупел; надобно тебе или пожить в желтом доме или велеть себя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение... Разве ты разучился писать? разве считаешь ниже себя выразить какое-нибудь чувство к государю? Зачем ты мудришь? действуй просто».

К этому Жуковский наставительно добавлял, что государь огорчен и считает подачу в отставку выражением неблагодарности.

Оказавшись столь неожиданно виновным в черной неблагодарности, Пушкин спешит успокоить Жуковского, что «попробует» написать еще одно письмо Бенкендорфу.

И действительно «пробует» и находит нужные, с точки зрения Жуковского, слова, но может ли он быть искренним, когда говорит, что осыпан милостями Николая и что царь всегда был для него провидением свыше. Эти фразы

звучат явной иронией, но ирония замечена не была, и Пушкину благосклонно было предоставлено попрежнему числиться на службе.

«На днях я чуть было беды не сделал, — писал он жене, — с тем чуть былс не побранился — и трухнул-то я, да и грустно стало. С этим поссорюсь, — другого не наживу. А долго на него сердиться не умею, хоть он и не прав».

И, как эпилог пронесшейся «беды» с отставкой, звучит запись в дневнике Пушкина: «прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился я со двором — но все перемололось. Однако это мне не пройдет».

Но вся острота перенесенного в 1834 году конфликта из-за «отставки» не могла удержать Пушкина от стремления к разрыву с петербургской жизнью, с навязанной служебной зависимостью. Не прошло и года, как он вновь поставил перед царем и Бенкендорфом вопрос о разрешении ему удалиться в деревню на несколько лет.

Правда, в письме к Бенкендорфу 1 июня 1835 года эта просьба выражена со всею осторожностью, с тщательной обрисовкой мотивов, которые сводились к невозможности существовать с семьей в Петербурге и необходимости отъезда в деревню во избежание полного разорения.

Сохранившийся черновой набросок письма со многими поправками и вариантами фраз свидетельствует о том, что Пушкину стоило большого труда согласовать свой поступок, идущий наперекор воле царя, с проявлением чувства «благодарности» и «преданности» Николаю, оказавшему так много ему «милостей», «не как государь и не по долгу и справедливости», а по «сердечной благодарности и великодушию».

Наставления Жуковского, очевидно, оставались в памяти у Пушкина, и он стремился заранее отстранить всякое подозрение в неблагодарности.

Но воля царя, хотя и удовлетворенного такими изъ-

явлениями чувства преданности, оставалась непреклонной. На этот раз не в письме Пушкина, а в резолюции Николая было произнесено слово «отставка», и Пушкин был уведомлен Бенкендорфом, что согласно пометки государя на письме, ему «нельзя... будет отправиться на несколько лет в деревню иначе, как взяв отставку».

Ободренный тем, что освобождение может быть, наконец, достигнуто, Пушкин поспешил ответить, что он «предает совершенно судьбу свою в царскую волю», но ни словом не упомянул об отставке.

В конечном итоге, и на этот раз отставки не последовало, не было дано и разрешения удалиться в деревню. Было принято во внимание лишь материальное положение Пушкина и, согласно царского указа, Пушкину было выдано на определенных условиях 30 000 рублей.

Освобождение от «зависимости» не могло прийти в порядке царского усмотрения. Иными путями приобретаются даже и те «лучшие», по выражению поэта, права, о которых он говорит в одном из последних своих раздумий:

. . . . .  
                                никому  
Ответа не давать, себе лишь самому  
Служить и угождать, для власти, для ливреи  
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи,  
По прихоти своей скитаться здесь и там...

. . . . .  
Вот счастье! вот права...

---



## ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ПУШКИНА 1834 ГОДА

В 1900 г. Н. А. Гастфрейнд опубликовал «Послужной список» Пушкина 1837 года<sup>1</sup>. Для темы «Пушкин-чиновник» подобные документы, как бы незначительны они ни были, представляют бесспорный интерес, приоткрывая тот будничнейший мир жизни поэта, ту социальную атмосферу полувоенной канцелярии, которыми были связаны его последние годы. От внимания Гастфрейнда и последующих исследователей, однако, ускользнул еще один мелкий документ того же рода, наличие которого должно быть учтено при восстановлении картины жизни Пушкина-чиновника. Это более ранний «Послужной список» Пушкина, относящийся к 1834 году, к моменту «пожалования» в камер-юнкеры.

Публикуемая копия с него найдена нами при просмотре дел Придворной конторы в Ленинградском отделении Гос. Центр. Архива<sup>2</sup>. Копия эта сопровождалась в Придворную контору при нижеследующем, также до сих пор неопубликованном, документе, любопытном между прочим тем, что первым из новых камер-юнкеров поименован не Пушкин, а двадцативосьмилетний Ремер, тот самый, о котором Пушкин писал жене: «Вообрази, что мне с моей седой бородкой придется выступать с Безобразовым или Реймарсом — ни за какие благополучия».<sup>3</sup>

Вот текст этого документа:

*Министерство  
иностранных дел  
Департамент  
Хозяйственных и Счетных  
дел  
Отделение 1.  
Стол 3*

Пол<учено> 3 Января 1834.

В ПРИДВОРНУЮ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА КОНТОРУ

*Января 2*    дня  
*1834*  
*№ 20*

Департамент Хозяйственных и Счетных дел имеет честь препроводить при

<sup>1</sup> «Пушкин. Документы Государственного и С.-Петербургского главного архивов министерства иностранных дел, относящиеся к службе его 1831—1837 гг.», стр. 2.

<sup>2</sup> По инвентарю Общего архива № 647. См. Описание № 213 Дела 1 разряда по архиву Главного дворцового управления, № 117 (167).

<sup>3</sup> Переписка Пушкина, ред. В. И. Саятова, т. III, стр. 98.

сем в оную Контору копию с формулярных списков о службе состоящих в ведомстве Министерства Иностранных Дел Коллежского Ассесора Ремера и Титулярного Советника Пушкина, Всемилостивейше пожалованных в звание Камер-Юнкеров Двора Его Императорского Величества.

Вице Директор *Граф Виельгорский*.

Слушано Генваря 5 дня 1834 года и определено присланные копии взять в экспедицию для надлежащей отметки.

*Иван Яников*

Начальник Отдела — Орлов<sup>1</sup>

Далее в деле находится еще один документ.

Вот его содержание:

На заглавном листе значится: «Копия. Послужной Список Титулярного Советника в звании Камер-Юнкера Александра Пушкина 1834 года, — в списке отмеч.».

*Чин, имя, фамилия и должность им отправляемая и сколько от роду лет.*

Титулярный Советник в звании Камер-Юнкера Александр Сергеев сын Пушкин от роду имеет 35 лет. При Первом Главном Архиве Министерства Иностранных дел.

*Из какого звания происходит.*

Из Дворян. О сем ожидается доказательство.

*Есть ли за ним, за родителями его, или когда женат, за женою недвижимое имение.*

*У родителей и у него самого, Родовое:*

Нижегородской Губернии в Лукьяновском Уезде 20 душ.

*Благоприобретенное*

⟨Не заполнено⟩

*У жены, буде женат, Родовое, Благоприобретенное.*

⟨Графы не заполнены⟩

*Когда в службу вступил, в оной какими чинами, и в каких должностях и где происходил, также не было ли каких отличных по службе деяний, и не был ли особенно кроме чинов чем награждаем и в какое время, годы, месяцы и числа.*

Обучался в Императорском Царскосельском Лицее разным языкам и наукам, выпущен из одного и по Высочайшему Указу определен в ведомство Государственной Коллегии Иностранных дел с Чином Коллежского Секретаря — — — — — 1817. Июня 13.

<sup>1</sup> Далее — служебные отметки. Ср. у Гастфрейнда, стр. 38.

По высочайшему Указу уволен вовсе от службы — — 1824 Июля 8.

Во время жительствова его в Одессе, Высочайше повелено перевести его оттуда на жительство в Псковскую Губернию, с тем, чтоб он находился под надзором Местного Начальства. — — — — — 1824. . . . . 11.

По Высочайшему Указу, определен по прежнему в ведомство Государственной Коллегии Иностранных дел тем же Чином. — 1831 Ноября 14.

Пожалован в Титулярные Советники — — — — — 1831 Декабря 6.

Пожалован в звание Камер-Юнкера Двора Его Императорского Величества. — 1833 Декабря 31.

*В походах против неприятеля и самих сражениях был, нет, и когда именно.*

Не был.

*Не был ли в штрафах и под судом и есть ли был, то за что именно, когда и чем дело кончено.*

Не был.

*К продолжению Статской службы способен, и к повышению чина достоин, или нет и за чем.*

Аттестуется способным и достойным.

*Не был ли в отпусках и есть ли был, то когда именно и насколько времени и являлся ли на срок к должности.*

Был уволен в отпуске.

1832 Сентября 12 на 28 дней, возвратился в срок.

1833 Августа 12 на 4 месяца возвратился 28 Ноября того ж года.

*Не был ли в отставке с награждением чином, или без оного и когда.*

1824 года.

Июля 8 был уволен вовсе от службы без награждения чином.

*Женат ли, имеет ли детей, кою именно, коликих лет, и где они находятся.*

Женат.

Верно: Начальник Отделения Орлов.

С подлинным Читал

Столоначальник <подпись>

На обороте значится:

В сем деле номерованных десять листов. Надворный Советник *Верженский.*

«Дело О пожаловании в звание Камер Юнкера» началось 31 декабря 1833 г., кончилось 5 января 1834 г.

Сравнительно с послужным списком Пушкина 1837 г. послужной список 1834 года имеет некоторые отличия.

Так, в первой графе местом службы значится «Первый Главный архив», в списке же 1837 г. — просто Министерство Иностранных дел; в той же графе нашего списка отсутствует указание на «вероисповедание».

В графе о недвижимом имуществе жены сведения просто не представлены, в списке же 1837 г. значится: «сведения не доставлены».

В графе об обучении в Лидее сравнительно со списком 1837 года имеется более полный ответ: «Обучался. . . *разным языкам и наукам*». Особо любопытен в нашем списке ответ, в котором канцелярский механик аттестует Пушкина «способным» к продолжению статской службы и «достойным к повышению чина»; в списке 1837 г. эта графа отсутствует.

В том же документе, уложившем в рамки казенной анкеты жизнь Пушкина, имеется и послужной список высшего по чину Реймера (Ремера). Ремер имеет 200 душ, владеет каменным домом, в «вознаграждение трудов и усердия во время нахождения его при печальной Комиссии (имеется в виду траурная комиссия, образованная после смерти Александра I) пожалован ему бриллиантовый перстень» в июле 1826 года. Он числился также сверх штата при Неаполитанской миссии.

Несомненно, этот список человека, делавшего карьеру, импонировал придворно-чиновничьему миру гораздо более, нежели находившийся с ним в паре список титулярного советника, бывшего под надзором, который уже был однажды «по высочайшему указу уволен вовсе от службы».

Д. Я.

## ГЛАВНЕЙШИЕ ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ПУШКИНА В 1834 ГОДУ

### Я н в а р ь.

- 1 — Пушкин в Петербурге. Отмечает в дневнике свое «пожалование» в камер-юнкеры.
- 16 — Дата на рукописи «Извлечение из Введения Штраленберга» в Материалах для истории Петра I.
- 17 — Представление Н. Н. Пушкиной «ко двору».
- 25 — Дата на рукописи «До 1700 (от казни стрельцов)» в Материалах для истории Петра I.
- 26 — Пушкин отмечает в дневнике прием в русскую службу Жоржа Дантеса.
- 27 — Официальное объявление Пушкину о «пожаловании» его в камер-юнкеры и расписка Пушкина в чтении этого объявления.

### Ф е в р а л ь.

- Начало* — Пушкин видится с А. Н. Вульфom, которому сообщает, что «возвращается к оппозиции», негодуя на свое камер-юнкерство.
- 1 — Выход в свет «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях», напечатанной в «Библиотеке для чтения».
  - 8 — Высочайшим приказом Ж. Дантес зачислен корнетом в Кавалергардский полк.
  - 26 — Письмо Пушкина к А. Х. Бенкендорфу с просьбою о выдаче из казны заимообразно 20000 рублей на напечатание «Истории Пугачева», незадолго перед этим возвращенной Пушкину в рукописи с замечаниями Николая I.

### М а р т.

- 1 — Выход в свет «Пиковой Дамы», стих. «Будрыс и его сыновья» и «Воевода» (из Мицкевича), напечатанных в «Библиотеке для чтения».
- 4 — Письмо А. Х. Бенкендорфа к Пушкину с сообщением о том, что Николай I разрешил Пушкину выдать займы 20000 рублей на напечатание «Истории Пугачева».

- 6 — Пушкин записывает в дневник о выдаче ему этой денежной ссуды.
- 16 — Пушкин присутствует на большом совещании литераторов у Н. И. Греча, созванном для обсуждения предпринятого издателем А. Плюшаром «Энциклопедического Лексикона».
- 22 — Обязательство Пушкина государственному казначейству о возврате ссуды в 20000 р. в течение двух лет.
- 25 — Пушкин обедает у М. М. Сперанского, который советует ему писать историю своего времени.
- 29 — На обеде у кн. Н. Трубецкого Пушкин познакомился с Н. В. Кукольниковом (запись в дневнике).

А п р е л ь.

- 2 — Пушкин отмечает в дневнике, что он, кн. В. Ф. Одоевский и Е. П. Зайцевский исключены из числа издателей «Энциклопедического Лексикона» Плюшара.
- 3 — Запрещение «Московского Телеграфа».
- 6 — Первая запись в тетраде «Счеты по части управления Болдина и Кистенева 1834», в которой имеются записи по июнь 1835 г.
- 7 — Отметки Пушкина в дневнике о запрещении «Московского Телеграфа», о том, что «Пиковая Дама» в большой моде и что Н. В. Гоголь по его совету начал писать «Историю русской критики».
- 8 — Пушкин представлялся императрице Александре Федоровне, которую благодарил за «пожалование» в камер-юнкеры.
- 13 — Письмо Пушкина к управляющему имением С. А. Пушкина И. М. Пеньковскому с извещением о том, что согласно желанию отца он вступает в управление с. Болдиным.
- 15 — Отъезд Н. Н. Пушкиной с детьми Марией и Александром в Москву. Пушкин провожает их до Ижор, о чем записывает в дневнике.
- 19—21 — Выход в свет поэмы «Анжело», напечатанной в «Новоселье» А. Ф. Смирдина.

М а и.

- 1 (?) — Н. В. Гоголь читает у Д. В. Дашкова свою комедию «Владимир третьей степени» в присутствии Пушкина.
- 3 — Пушкин занял у полковника В. В. Энгельгардта 1330 руб. асс. и выдал ему вексель.
- 5 — В «Библиотеке для чтения» появилось стих. Пушкина «Красавица» (в альбом Г\*\*\*). — «Все в ней гармония, все диво».
- 10 — Пушкин отмечает в дневнике получение записки В. А. Жуковского, в которой тот сообщил о распечатании полицией письма Пушкина к жене.

Notre nom est Legian  
car nous étés plusieurs

16 juin v. st.

1854

S<sup>t</sup> Pétersbourg

A. Pouchkine.





- 10 ?) Отъезд Н. Н. Пушкиной из Москвы с детьми и сестрами Е. Н. и А. Н. Гончаровыми в Ярополец к матери.
- 21 — Запись в дневнике об Екатерине II и об «отвратительном» конце ее царствования.
- 26 — Пушкин занял у книгопродавца И. Т. Лисенкова по векселю 4000 р. асс. и провожал уезжавших на пароходе в Италию кн. П. И. и Е. Н. Мещерских.
- 27 — Пушкин представлялся вел. кн. Елене Павловне. Разговор их о Пугачеве.
- 30 — Пушкин и Н. В. Гоголь у П. А. Плетнева, где их встречает А. В. Никитенко.

Июнь.

- 1 — Вечер у Е. А. Карамзиной, где были Пушкин, В. А. Жуковский, Д. В. Давыдов и П. Д. Киселев.
- 3 — Письмо Пушкина к жене по поводу перлюстрации писем.
- 11 — Отъезд родителей Пушкина в с. Михайловское.
- 16 — Запись Пушкина в альбом чревоушателя А. Ваттемара.
- 25 — Письмо Пушкина А. Х. Бенкендорфу с просьбою об отставке и о сохранении права работать в архивах.
- 30 — Ответ Бенкендорфа, извещающий о принятии отставки, без дозволения занятий в архивах.

Июль.

- 1 — На придворном гулянье в Петергофе В. В. Ленц видит Пушкина угрюмым.
- 3 — Письмо Пушкина к А. Х. Бенкендорфу с сообщением, что он берет обратно просьбу об отставке.
- 5 — Пушкин отправляет в типографию через М. Л. Яковлева для набора I том «Истории Пугачева».
- 6 — Письмо Пушкина к А. Х. Бенкендорфу с повторением просьбы не давать хода поданному прошению об отставке.
- 17 — Пушкин отправляет в типографию через М. Л. Яковлева для набора II том «Истории Пугачева».
- 19 — Цензурное дозволение книги «Повести, изданные Александром Пушкиным», СПб, 1834, подписанное цензором В. Н. Семеновым.
- 20 — Пушкин заложил в ломбарде 74 души крестьян с. Болдина за 13260 р.
- 22 — Пушкин отмечает в дневнике: «прошедший месяц был бурен; чуть было не поссорился я со двором — но все перемололось. — Однако это мне не пройдет».
- Конец шоля или начало августа — Пушкин знакомится с Дантесом в ресторане Дюмэ.

А в г у с т.

- 4 — Прошение Пушкина по месту службы в министерстве иностранных дел об отпуске на три месяца в Нижегородскую и Калужскую губернии.
- 10 — Дата под стих. «Мицкевичу» («Он между нами жил...»).
- После 10 — Переезд Пушкина на новую квартиру в доме С. А. Баташева по Гагаринской набережной у Прачечного моста.
- 12 — Пушкин подписал к печати I том «Истории Пугачева».
- 15 — Пушкину выдано с места службы свидетельство об отпуске.
- 25 — Отъезд Пушкина из Петербурга в Москву.
- До 27 — Выход в свет «Повестей, изданных Александром Пушкиным» СПб., 1834, куда вошли «Повести Белкина», «Две главы из исторического романа» и «Пиковая Дама».
- 28(?) — Приезд Пушкина в Москву на несколько часов, встреча с А. Н. Раевским; отъезд в Полотняный завод.
- 29(?) — Приезд Пушкина в Полотняный завод, где он проводит две недели вместе с женой и детьми.

С е н т я б р ь.

- 8 — Приезд Пушкина в Москву с женою и свояченицами из Полотняного завода. В этот же день он с ними был в театре.
- 9 — У Пушкина был А. И. Тургенев, которому поэт читал «Историю Пугачева».
- 10(?) — Отъезд Пушкина из Москвы в Болдино.
- 13 — Приезд Пушкина в Болдино.
- 20 — 10 ч. 53 м. — окончена «Сказка о золотом петушке».

О к т я б р ь.

- 6 — Запись со слов И. И. Дмитриева исторического анекдота об А. Муравьеве и гр. Палене, участвовавших в заговоре на жизнь Павла I.
- 7(?) — Приезд Н. Н. Пушкиной с сестрами и детьми из Москвы в Петербург.
- 15 — Приезд Пушкина из Болдина в Петербург.
- Вторая половина — Пушкин присутствует вместе с В. А. Жуковским в петербургском университете на лекции Н. В. Гоголя.
- 19 — Пушкин празднует лицейскую годовщину у М. Л. Яковлева. Пушкин читает А. И. Тургеневу по рукописи «Поэму о наводнении 1824 г.», т. е. «Медного Всадника», написанного в Болдине в 1833 г. (дневник А. И. Тургенева).
- 30 — Дата под положением о довольствии, выданном Пушкиным управляющему с. Болдина И. М. Пеньковскому.

Н о я б р ь.

- 1— В «Библиотеке для чтения» появились «Два любопытные документа о Пугачеве», сообщенные Пушкиным.
- 10— Пушкин был на обеде у П. П. фон-Гетца.
- 12— Пушкин подписал к печати II том «Истории Пугачева».
- 20— Пушкин выдает И. М. Пеньковскому доверенность на ведение дел по имениям.
- 28— Пушкин продолжает свой дневник, куда записывает события своей жизни за последние три месяца.

Д е к а б р ь.

- 1— В «Библиотеке для чтения» появились: «Отрывок из Медного Всадника» и «Кирджали».
- 4— Пушкин в гостях у своего кишиневского знакомого М. И. Лекса.
- 6— В день именин Николая I Пушкин «все-таки не был» во дворце, рапортуясь больным (запись в дневнике).
- 8— Пушкин присутствовал на заседании Российской Академии.
- 9— Дата под разговором с англичанином из «Путешествия из Москвы в Петербург» о русских крестьянах.
- 15— Родители Пушкина С. А. и Н. О. Пушкины возвратились из Михайловского в Петербург.
- 16— Пушкин на балу в Аничковом дворце. Разговор его с А. О. Ленским об А. Мицкевиче и о Польше. Пушкин преподносит А. Н. Мордвинову экземпляр «Истории Пугачевского бунта» еще до выхода ее в свет.
- 22— Запись в дневнике об аресте А. В. Никитенка.
- Около 28— Выход в свет «Истории Пугачевского бунта» в двух частях.

*Л. Модзалевский.*

## ХРОНИКА ПУШКИНОВЕДЕНИЯ

за 1933 год

Истекший 1933 год в известной степени явился поворотным в области освоения классического наследия Пушкина. В сравнении с предыдущими годами число изданий, посвященных Пушкину, может быть, и не так велико, но за этот период произошел решительный сдвиг на пути к осуществлению ряда капитальных работ, которые до сих пор по разным причинам не удавалось осуществить.

Происшедший сдвиг не случаен: он подготовлялся кропотливой, не всегда достаточно заметной работой, проделанной за годы революции соединенными усилиями многих советских литературоведов. Тут прежде всего должна быть упомянута большая текстологическая работа Томашевского и Халабаева для ряда изданий ГИЗа, а также первая попытка за революционные годы дать вновь проверенное по рукописям полное собрание сочинений Пушкина, которое вышло в изданиях «Красной нивы» и ГИХЛа под общей редакцией и при участии крупнейших пушкинистов.

Значительное число новых пушкинских текстов, открытых за это время, а также пересмотр всего рукописного наследия Пушкина; произведенный в связи с указанными изданиями, подготовили почву для нового академического издания, которое должно отвечать самым строгим требованиям современного марксистско-ленинского пушкиноведения. Но только в истекшем году удалось реально приступить к осуществлению такого издания. В то же время разработан детальный план Пушкинской энциклопедии и уже сданы в печать фототипические воспроизведения пушкинской тетради № 2374 (из собрания Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина). Этим положено начало подлинно научной фиксации рукописей — одной из основ критического изучения пушкинского наследия<sup>1</sup>.

Большим событием была конференция пушкинистов, созванная

---

<sup>1</sup> См. информационную заметку Д. Якубовича «Фототипическое издание А. С. Пушкина в «Вестнике Академии наук СССР» 1933 г., № 10, стлб. 65—68 (здесь впервые воспроизведена первая страница черновика «Медного всадника»).

Академией Наук СССР с 8 по 11 мая 1933 г. в помещении Института русской литературы (Пушкинский Дом). Открытию конференции предшествовало заседание Пушкинской комиссии в расширенном составе 7 мая, на котором было прослушано два доклада: М. А. Цявловского — «Ульяновские рукописи Пушкина»<sup>1</sup> и Б. В. Томашевского — «Стихотворные тексты Пушкина за 15 лет».

В работах конференции, открытой непреходящим секретарем Академии Наук СССР акад. В. П. Волгиным, принимали участие следующие специалисты Ленинграда и Москвы: акад. А. С. Орлов (председатель), член-корр. Н. К. Пиксанов, М. А. Цявловский и Д. П. Якубович (ученый секретарь Пушкинской комиссии) — в составе президиума; М. К. Азадовский, М. П. Алексеев, Н. С. Ашукин, Н. Ф. Бельчиков, Д. Д. Благой, С. М. Бонди, В. В. Буш<sup>2</sup>, Г. О. Винокур, В. В. Гиппиус, Н. К. Гудзий, Т. Г. Зенгер, Б. В. Казанский, М. К. Клеман, член-корр. Н. К. Козмин, Н. О. Лернер, В. А. Мануйлов, Л. Б. Модзалевский, А. А. Морозов, Ю. Г. Оксман, С. А. Переселенков, С. А. Рейсер, А. Л. Слонимский, Б. В. Томашевский, Ю. Н. Тынянов, П. И. Чагин (зав. издательством Академии Наук), А. М. Эфрос, Н. В. Яковлев и др.

8 мая состоялась открытая конференция. После вступительного слова непреходящего секретаря Академии Наук акад. В. П. Волгина был прослушан доклад Н. К. Пиксанова «Об академическом издании сочинений Пушкина» и состоялось обсуждение доклада. Вечернее заседание было посвящено продолжению обсуждения доклада Н. К. Пиксанова. На утреннем заседании 9 мая состоялся доклад Д. П. Якубовича «Пушкин за Пушкина за революционное 15-летие» и обсуждение этого и предыдущих докладов. Вечернее заседание было посвящено докладу М. А. Цявловского в связи с составленной им инструкцией по академическому изданию. 10 мая было продолжено чтение доклада М. А. Цявловского и образованы 4 комиссии для детальной проработки затронутых конференцией вопросов: 1) научно-организационная комиссия под предс. акад. В. П. Волгина, 2) комиссия по выработке типа и структуры издания под предс. М. А. Цявловского, 3) текстологическая комиссия, под предс. Н. К. Пиксанова и 4) юбилейная комиссия под предс. акад. А. С. Орлова. Работы комиссий происходили 10 и 11 мая. На заключительном заседании конференции обсуждались предложения, выработанные комиссиями, и, после обмена мнений, конференция пришла к следующим решениям: 1) По организации издания: во главе издания должна стоять общая редакция, как в части идеологической, так и художественной. (В настоящее время эта редакция состоит из главного редактора, акад. В. П. Волгина, заместителя главного редак-

<sup>1</sup> Опубликован в «Трудах Публичной Библиотеки СССР им. В. И. Ленина», вып. III, Academia, стр. 13 — 43.

<sup>2</sup> Скончался 14 мая 1934 г. в Ленинграде.

тора, акад. А. С. Орлова и членов редакторского комитета Ю. Г. Оксмана, Б. В. Томашевского. М. А. Цявловского и Д. П. Якубовича). 2) По типу и структуре издания: академическое юбилейное издание ставит своей задачей дать советскому читателю исчерпывающее по полноте и точности собрание произведений поэта в обработке, стоящей на высоте современного литературоведения, и в форме, рассчитанной на квалифицированного читателя; в издание включаются все произведения и письма Пушкина; черновые тексты даются в сводных редакциях с приведением важнейших вариантов; черновые тексты, не дающие никакой сводной редакции, воспроизводятся в транскрипции. Выписки, копии чужих произведений, документы хозяйственно-бытового характера, писанные рукою Пушкина, помещаются в особом томе, являющемся приложением к собранию сочинений. Издание предполагается осуществить в 18 томах, причем комментарии к произведениям даются вместе с текстами их в каждом из томов. Устанавливаются две цепи для отдельных произведений: в одну включаются все основные произведения в строгой хронологической последовательности, в другую — наброски и мелочи. В особый отдел выделяются произведения, принадлежность которых Пушкину сомнительна. Издание сопровождается вводной статьей от главной редакции. Комментарий дается строго делового характера и в максимально сжатом виде. Издание сопровождается рядом указателей. В качестве образца формата издания берется третье издание сочинений В. И. Ленина. Из иллюстраций включаются в издание прижизненная иконография Пушкина и некоторое количество снимков с его автографов. Тексты печатаются исключительно по новой орфографии, причем сохраняются лишь отклонения пушкинской орфографии от правописания его эпохи, если они могут быть переданы средствами новой орфографии. 3) В качестве юбилейных мероприятий в 1937 году конференция признала необходимым: созыв в Ленинграде Пушкинского съезда, который должен подвести итоги работ по пушкиноведению в целом и в особенности за годы революции. К съезду положено организовать пушкинскую выставку; обеспечить охрану пушкинских мест, начиная с последней квартиры Пушкина (Мойка, 12), места дуэли и др., совместно с Комитетом по охране памятников искусства и старины; осуществить следующие издания: продолжение факсимильного издания рукописей Пушкина; описание всех рукописей Пушкина; Пушкинская библиография (в особенности за советский период), хронологическая канва жизни и творчества Пушкина (труды и дни поэта), причем предложено Н. О. Лернеру переработать его книгу на ту же тему, используя новые материалы. Для широких читательских кругов необходимо издание ряда популярных работ по специально выработанному плану, выполнение которых нужно обеспечить марксистски подготовленными кадрами. Большое внимание конференция уделила Пушкинской энциклопедии, признав необходимым скорейшее ее издание, так же как и издание основных

художественных произведений Пушкина с иллюстрациями современных советских художников. Также было решено обратиться к союзу архитекторов по поводу постановки памятника Пушкину в Ленинграде. Наконец, конференция постановила просить Академию Наук обратиться к правительству с ходатайством о создании широкого общественного Юбилейного комитета, с тем, чтобы в числе других мероприятий обеспечить своевременное привлечение к участию в юбилее театров, кино и радиовещания.

Многие из вышеперечисленных мероприятий Пушкинской конференции уже осуществляются: приступлено к работам по подготовке двух томов академического издания сочинений Пушкина: т. I — лирика, под ред. М. А. Цявловского, и том с драматическими произведениями, под ред. Д. П. Якубовича, при участии Б. В. Томашевского, С. М. Бонди, Г. О. Винокура, М. П. Алексеева, Н. В. Яковлева, А. Л. Слонимского, Ю. Г. Оксмана и Д. П. Якубовича<sup>1</sup>; ближайшее руководство академическим изданием принадлежит редакторскому комитету.

16 ноября президиумом Академии Наук утвержден состав Пушкинской комиссии, состоящей при ИРЛИ: предс. акад. А. С. Орлов, зам. предс. Ю. Оксман, акад. М. Розанов, акад. М. Сперанский, М. Алексеев, Н. Бельчиков, Д. Благой, С. Бонди, В. Вересаев, Г. Винокур, В. Гиппиус, Т. Зенгер, Н. Козмин, Н. Лернер, А. Мален, Л. Модзалевский, Н. Пиксанов, Б. Томашевский, Ю. Тынянов, М. Цявловский, А. Эфрос, при ученом секретаре Д. Якубовиче.

Уже заканчивается работа по научному описанию рукописей Пушкина, хранящихся в ИРЛИ (составители описания: Н. К. Козмин, Л. Б. Модзалевский, Б. В. Томашевский и Д. П. Якубович); выработан план и приступлено к работе по составлению Пушкинианы за годы 1887—1899, 1911—1917 и 1918—1933 (в работе принимают участие П. Н. Берков, В. М. Лавров, Н. И. Мордовченко, А. Г. Фомин, Н. В. Цейтц и др.)

В связи с организацией работ над «Пушкинской энциклопедией», принятой к изданию в 3 томах издательством «Academia», состоялся ряд заседаний, созванных «Academia» в Москве с участием М. Цявловского, Л. Каменева, А. Ефремина, Г. Фридлянда, Д. Благого, С. Бонди, Г. Винокура, В. Виноградова, А. Эфроса, Н. Ашукина, П. Попова, Ф. Швальбе и др., и 27 ноября — открытое заседание Пушкинской комиссии под предс. акад. А. С. Орлова с широким привлечением литературоведческой общественности Ленинграда; в результате выработана обширная инструкция и план издания.

Производится работа по устройству во вновь отремонтированном помещении квартиры Пушкина (Мойка, 12) литературного музея и

<sup>1</sup> См. заметку в «Литературном Ленинграде» 20 декабря 1933 г. № 21 и в «Литературной газете» 20 мая 1934 г., № 63.

мемориальной комнаты по материалам и экспонатам ИРЛИ. Устройство музея в квартире Пушкина подробно обсуждалось на открытом заседании Пушкинской комиссии в декабре 1933 г., на котором был утвержден составленный Н. Козминным и зав. музеем ИРЛИ И. Векслером план реорганизации квартиры (открытие музея состоялось в годовщину смерти Пушкина 10 февраля 1934 г.)

В результате совместных усилий Пушкинской комиссии ИРЛИ и Пушкинского общества приняты решительные меры к охране Пушкинского заповедника в с. Михайловском; согласно выводам ОблРКИ, обследовавшей пушкинские места, 17 ноября состоялось постановление Облисполкома о передаче заповедника в ведение Академии Наук, чем обеспечена полная его сохранность и возможность его дальнейшего развития, а также проведение в жизнь ряда культурно-просветительных мероприятий по устройству в нем литературного музея, постройке экскурсионной базы и т. п. На эти работы, а также на реставрацию памятных мест (прежде всего — могилы Пушкина), Облисполком отпустил 40 000 рублей<sup>1</sup>.

Отчетный 1933 год обогатил нас целым рядом неизвестных или затерянных ранее рукописей Пушкина. Большим событием была находка<sup>2</sup> в Югославии авторизованной рукописи неосуществившегося сборника стихотворений Пушкина 1820 г., известного в литературе под названием «тетради Н. В. Всеволожского». Тетрадь была названа так потому, что поэт проиграл ее в карты перед ссылкой на юг своему приятелю, члену «Зеленой Лампы» Н. В. Всеволожскому. С тех пор рукопись перешла из рук в руки и ни разу не была предметом научного изучения. В настоящее время она приобретена Центральным Музеем литературы в Москве. «Тетрадь Всеволожского» подготавливается к печати Б. Томшевским и М. Цявловским.

Литературоведу В. М. Базилевичу посчастливилось найти в одном из архивохранилищ Киева альбом, принадлежавший К. А. Собаньской, в котором оказался неизвестный белой автограф стихотворения Пушкина «Что в имени тебе моем...» с датой 1830 г.; значительный интерес для понимания отношения Пушкина к К. А. Собаньской представляет запись ее, сделанная при автографе поэта. Результаты обследования этих материалов В. М. Базилевич печатает в одном из литературоведческих изданий.

Артист 2-го Московского Художественного театра А. Н. Глумов, работая в Библиотеке русской драмы в Ленинграде, обнаружил неизвестную до сих пор записку Пушкина к кн. П. А. Вяземскому, писан-

<sup>1</sup> См. подробнее в статье «Восстановление Пушкинского заповедника» в «Литературном Ленинграде» 20 ноября 1933 г., № 15.

<sup>2</sup> См. заметку в «Ленинградской Правде» от 14 октября 1933 г., № 238.



ную на партитуре «Черной шали» А. Н. Верстовского<sup>1</sup>. Эта записка вместе с партитурой опубликована в статье А. Н. Глумова «Пушкин, Виельгорский и Верстовский» в журнале «Советская музыка» № 1 за 1934 год.

Еще несколько автографов Пушкина найдено в Москве и Ленинграде в частных руках. Ю. Г. Оксман обнаружил неизвестный отрывок черновика из «Евгения Онегина» и рисунок поэта (печатается в «Литературном наследстве»), в Москве М. Цявловским найдены черновики статьи Пушкина об «Истории русского народа» Н. А. Полевого и заметка о «Слове о полку Игореве» (печатается Цявловским); в Ленинграде Б. В. Казанским<sup>2</sup> обнаружены клочки разорванного письма поэта к бар. Геккерену 1836 г., принадлежавшие М. И. Семевскому и воспроизведенные им факсимильно, как теперь выяснено, не совсем правильно в «Русской старине», 1880 г. № 7. На основании этих клочков, а также клочков, хранившихся в собрании ИРЛИ и ранее подробно не обследованных, Б. В. Казанскому удалось прочесть несколько новых фраз из письма и реконструировать разорванный текст, давший возможность вскрыть несколько новых деталей в преддуальной драме поэта.

Книжная продукция по Пушкину за отчетный 1933 год, как уже сказано, сравнительно не велика.

Так закончилось издание сочинений, предпринятое Государственным издательством художественной литературы. Пятый, последний том, датированный 1933 годом, появился в 1934 году<sup>3</sup>; предполагавшийся шестой том, в который должен был войти «Путеводитель по Пушкину», несколько переработанный и дополненный по сравнению с первым его изданием (в 12 выпуске «Сочинений Пушкина», вышедших в виде приложения к журналу «Красная Нива»), — напечатан не будет ввиду намеченной к выпуску «Пушкинской энциклопедии». Тем же Государственным издательством выпущен однотомник сочинений Пушкина, под ред. Б. В. Томашевского (7-е издание); оно составлено по тому же плану, что и предшествующие ему, но, к сожалению, вследствие небрежности издательства, в новом издании имеется много опечаток и выброшено весьма важное оглавление

<sup>1</sup> См. заметку в «Известиях Центрального Исполнительного Комитета» от 2 ноября 1933 г., № 268 (5199).

<sup>2</sup> См. заметку «Новые данные о дуэли Пушкина» в «Литературном Ленинграде» 9 января 1934 г. № 2 (24), а также его статью «Разорванные письма» в «Звезде» 1934 г., № 3, стр. 141—149.

<sup>3</sup> Пятый том сочинений Пушкина в издании ГИХЛ состоит из двух частей и содержит критические, исторические и автобиографические произведения. Редакция Ю. Г. Оксмана и П. Е. Щеголева, статьи М. Н. Покровского и И. В. Сергиевского.

книги, необходимое для пользования ею. В серии «Школьной библиотеки классиков» ГИЗа появились отдельные издания «Евгения Онегина», «Капитанской дочки», «Дубровского» с примечаниями неизвестного автора; последние выполнены настолько небрежно и заключают в себе так много грубых ошибок, что о них появилась даже специальная статья Ф. Бутенко, В. Гофмана и П. Соколова «Классические комментарии к классикам»<sup>1</sup>, к которой мы и отсылаем.

Совсем другой характер носит издание «Сказок» Пушкина, под редакцией, со вступительной статьей и объяснениями Александра Слонимского, вышедшее вторым изданием с гравюрами на дереве В. Конашевича, М. Орловой, С. Мочалова и Н. Фан-дер-Флит (ОГИЗ, Молодая Гвардия); в него вошли: Сказка о царе Салтане, Сказка о попе и работнике его Балде, Сказка о рыбаке и рыбке, Сказка о мертвой царевне и семи богатырях, Сказка о золотом петушке и неоконченная сказка, начинающаяся словами «Как осенней теплою порою», восстановленная С. М. Бонди по черновику. Сравнительно большая статья А. Л. Слонимского, написанная популярным языком и рассчитанная, очевидно, на юного читателя, дает в сжатом виде историю создания пушкинских сказок на фоне его биографии до 1835 года, вскрывает интерес поэта к сказочному материалу, социальную направленность некоторых сказок и пересматривает вопрос о влиянии на поэта его няни. Выводы автора подкреплены цитатами из писем и дневников Пушкина и новейшими исследованиями; статья читается с интересом, написана живо и достигает своей цели — помочь подрастающему поколению освоить классическое наследие Пушкина.

Из числа специальных работ по Пушкину за отчетный 1933 год прежде всего следует отметить монографию Абрама Эфроса «Рисунки поэта» («Academia», 470 стр.). Это второе издание книги, напечатанной в 1930 г. «Федерацией», настолько расширено и переработано, что его вполне можно рассматривать как новую работу. Количество воспроизведенных в книге рисунков Пушкина, в сравнении с первым изданием, увеличено почти вдвое, причем многое опубликовано впервые. Внимание исследователя перенесено теперь на «раскрытие содержания рисунков. Их пора уже читать так, как научились читать черновики пушкинских стихов. Надо исходить из положения, что графика его рукописей — это дневник в образах, зрительный комментарий Пушкина к самому себе, особая запись мыслей и чувств, своеобразный отчет о людях и событиях...» А. Эфрос пытается вскрыть прототипы, дает ряд достаточно убедительных портретных сопоставлений, переходя от чисто-внешней характеристики пушкинских рисунков к осмыслению их внутреннего содержания в связи с общим контекстом рукописей. К сожалению, материал книги ограничен составом московских

<sup>1</sup> «Литературный Ленинград» 20 декабря 1933 г. № 21.

собраний, тогда как в ленинградских собраниях находится большое число рукописей поэта с весьма показательными и еще не опубликованными рисунками.

Как и в первом издании, книга А. Эфроса состоит из четырех разделов: I — рисунки поэта; II — Пушкин и искусство; III — лицевая графика и IV — комментарии к рисункам. Последняя часть книги представляет собой опыт создания каталога рисунков Пушкина в московских собраниях и, несмотря на свою неполноту, значительно облегчает ориентировку в графическом наследии поэта. Надо надеяться, что А. Эфрос не ограничится этой работой, а в ближайшее время выпустит второй том своего важного и полезного труда, для которого будут положены в основу рисунки Пушкина, хранящиеся в ленинградских архивах.

Целый ряд статей посвящен Пушкину во втором сборнике материалов и документов «Звенья», изданном «Academia» под ред. В. Д. Бонч-Бруевича и А. В. Луначарского. Из статей, имеющих принципиальный характер, в первую очередь следует упомянуть статью Н. К. Пиксанова «Дворянская реакция на декабризм (1825—1827)»<sup>1</sup>, являющуюся разработкой доклада, прочитанного в 1930 г. в Московской секции по изучению декабристов Общества политкаторжан. Рассматривая такие стихи Пушкина, как «Послание в Сибирь» и «Стансы» к Николаю I, а также попутно касаясь известной истории стихов «Андрей Шенье в темнице», Н. К. Пиксанов приходит к выводу, что политический радикализм Пушкина вообще преувеличен и сливается с общим фоном умеренных дворянских высказываний в литературе того времени. По мнению Н. К. Пиксанова, «Пушкин вместе с<sup>3</sup> всем дворянским обществом принял Николая I как символ, как оплот дворянской государственности, зашатавшейся в дни восстаний на севере и юге и нуждавшейся в укреплении». Сопоставляя «Стансы» к Николаю I с верноподданническими виршами Шаликова и Висковатова, Н. К. Пиксанов находит, что в этом хоре славословий в стихах и прозе «голос Пушкина теряет свой особый тембр и сливается с общим гулом». Говоря о «Записке о народном воспитании», Н. К. Пиксанов как будто не учитывает того, что она была составлена Пушкиным по предложению свыше, и, доверяя искренности каждого ее слова, утверждает, что в этих высказываниях «Пушкин совпал во взглядах с попечителем учебного округа и беллетристом Перовским-Погорельским». К сожалению, Н. К. Пиксанов не привлекает других, неофициальных и более искренних высказываний Пушкина, а также упускает из виду целый ряд значительных работ на эту тему, в том числе статью П. Е. Щеголева «Пушкин и Николай I», переизданную в третий раз в 1931 г.

Вообще вопрос об эволюции политических взглядов Пушкина на-

<sup>1</sup> Стр. 132—199.

столько сложен, что его придется еще не раз пересматривать, привлекая новые материалы. Вот почему мы не можем согласиться с выводами Н. К. Пиксанова и не можем их считать окончательными. Указанная статья вызвала оживленную полемику и целый ряд печатных отзывов.

Наконец, в сборнике статей Н. К. Пиксанова «О классиках» (Моск. т-во писат., М. 1933) помещена статья «Пушкин на пути к гибели», ранее напечатанная в «Новом мире» (1931, № 7), — статья, содержащая некоторые фактические неточности и в целом дискуссионная, поскольку в ней также проводится мысль о «переходе» Пушкина на сторону «старого мира».

В специальном разделе второго выпуска «Звеньев», озаглавленном «Пушкин и о Пушкине», помещена статья Т. Г. Зенгер «Три письма к неизвестной»<sup>1</sup>. Первые два письма неточно и неполно были уже опубликованы Якушкиным в 1884 г.<sup>2</sup> Тогда же Якушкиным было высказано сомнение в том, действительно ли это письма, а не наброски для повести. Затем некоторые издания включали эти загадочные отрывки в текст писем. Т. Зенгер пытается доказать, что мы имеем дело действительно с письмами Пушкина, а не с литературными замыслами, и датирует первое — последними числами января, до 3 февраля 1830 г., а второе письмо — первыми числами февраля того же года. Третье письмо, также известное раньше<sup>3</sup>, Т. Зенгер относит не к 1822 г., как это делается обычно, а к 1823 г. и считает, что оно вместе с письмами 1830 года обращено к одной и той же женщине; однако, высказать предположение, кто эта корреспондентка Пушкина, Т. Зенгер не решается. С большим тактом и убедительностью автор названной статьи проводит параллель между письмами Пушкина и Онегина, утверждая, что «психологическое состояние Онегина в 8-й главе очень близко к состоянию Пушкина в феврале 1830 г.»

Н. С. Ашукин в заметке «Новые автографы Пушкина»<sup>4</sup> сообщает о выставке «Пушкин и его эпоха», организованной Славянской библиотекой министерства иностранных дел и библиотекой Чешского народного музея в марте 1932 г. в Праге. Упомянув о давно известном в нескольких снимках автографе стих. «О Делия драгая», Н. С. Ашукин по каталогу выставки дает подробное описание трех других автографов Пушкина, до сих пор неизвестных в печати и принадлежащих частным лицам. Автографы эти следующие: стих. «Нет, нет! не должен я, не смею, не могу» из альбома Pauline Bartenieff и запись в ее же альбоме из «Каменного гостя»; альбом, принадлежавший Н. А. Кон-

<sup>1</sup> Стр. 201—221.

<sup>2</sup> «Описание рукописей Пушкина», «Русская старина» № 8, стр. 327 и № 11, стр. 369.

<sup>3</sup> См. «Письма Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, № 47.

<sup>4</sup> Стр. 221—225.

стантинову (в Париже), в настоящее время приобретен Центральным музеем литературы в Москве<sup>1</sup>. На этой же выставке было представлено письмо Пушкина к гр. А. И. Чернышеву, принадлежащее М. Б. Сустер (Прага). Интересны содержательные комментарии Н. С. Ашукина; особенно следует отметить замечания его по поводу письма к Чернышеву, датированному самим Пушкиным 27 февраля 1833 г.; это письмо является ответом на отношение Чернышева от 25 февраля того же года.

Д. П. Якубович в заметке «Неизвестная запись Пушкина»<sup>2</sup> впервые публикует выписку, сделанную Пушкиным по-английски из сочинения Бэкона, «Essays of Counsels Civil a Moral», XIV глава — о дворянстве. Эта выписка была найдена Б. А. Модзалевским еще при разборе библиотеки Пушкина, но так и осталась неотмеченной ни в его описании Пушкинской библиотеки, ни в какой-либо другой работе по Пушкину, а подпала к выписке вообще осталась неразобранной. Между тем цитата из Бэкона весьма тесно связана с одной из центральных проблем, которая волновала Пушкина уже с 1822 г. — с вопросом об исторической роли дворянства. Д. Якубович не только установил автора и сочинение, из которого Пушкиным была взята цитата, но и привел попутно несколько характерных выдержек из Бэкона, перекликающихся с соответственными высказываниями Пушкина, а также дал справку о его знакомстве с сочинениями Бэкона.

Некоторый биографический интерес представляет заметка В. И. Срезневского «Встреча с Пушкиным» (24—26 октября 1831 г.)<sup>3</sup>. Речь идет о встрече И. В. Росковшенка с Пушкиным в книжной лавке Смирдина; эту встречу Росковшенко описал в письме к И. И. Срезневскому, впоследствии академику, в семейном архиве которого сохранилось это письмо.

Другая биографическая заметка Н. Ашукина «Пушкин перед картиной Брюллова» основана на записи, извлеченной из бумаг А. С. Андреева о встрече последнего с Пушкиным в 1827 г. на выставке перед картиной Брюллова «Итальянское утро». Эта запись дает новый материал для выяснения истории отношения Пушкина к русским художникам и, в частности, сообщает раннюю оценку Пушкиным К. П. Брюллова.

Наконец Л. Б. Модзалевский в том же разделе сообщил «Новые материалы об издании Пушкина»<sup>4</sup> на основании цензурных экземпля-

<sup>1</sup> Описание этого альбома с воспроизведением отдельных листов было дано еще в третьем выпуске «Временника общества друзей русской книги» в Париже. В настоящее время выяснено, что запись стих. «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу» не является автографом поэта.

<sup>2</sup> Стр. 225—231.

<sup>3</sup> Стр. 231—235.

<sup>4</sup> Стр. 241—253.

<sup>3/4</sup>11 Пушкин — 1834 год.

ров, хранящихся в библиотеке Ленинградского университета. Цензурные свидетельства позволили уточнить даты выхода в свет ряда прижизненных изданий Пушкина. Особый интерес из числа описанных Л. Модзалевским книг представляет издание «Романов и повестей» Пушкина 1837 г. в двух частях, дошедшее до нас в единственном цензурном экземпляре (шифр библиотеки: ЕП 11370). История этого несостоявшегося издания детально восстановлена на архивном материале. До сих пор мы не знали об этом издании. Оно было задумано для более успешного распространения «Повестей» изд. 1834 г., которые расходились с трудом. Был отпечатан новый титульный лист к изданию 1834 г. и, в виде второй части, напечатана «Капитанская дочка». В числе других документов, опубликованных в статье Л. Модзалевского, интересна записка книгопродавца Л. Жебелева, вскрывающая материальные соображения, побудившие присоединить к «Повестям Пушкина» новое издание «Капитанской дочки».

В том же втором сборнике «Звеньев» помещена заметка А. Л. Вейнберг «Перо Гете у Пушкина»<sup>1</sup>, устанавливающая на основании сообщения проф. Геккера о письме пианистки Шимановской из Петербурга от 16—28 июля 1828 г. и ряда других свидетельств историю получения Пушкиным подарка от Гете через Жуковского и А. И. Тургенева<sup>2</sup>.

Большой интерес представляет работа Г. Глебова «Пушкин и Гете», помещенная там же<sup>3</sup>. В ней содержится сводка высказываний Пушкина о Гете.

В отчетном 1933 году начато издание серии Пушкинского общества в Ленинграде под общим заглавием «Последние годы творчества Пушкина» (1833—1837). Вышел первый сборник Общества «Пушкин. 1833 год». Его содержание: 1) Е. Давыдов — «1833 год в творчестве Пушкина»; 2) Д. Якубович — «Незавершенный роман Пушкина» («Дубровский»); 3) Инн. Оксенов — «О символике „Медного Всадника“»; 4) Д. Якубович — «О „Пиковой Даме“»; 5) Л. Модзалевский — «Главнейшие хронологические даты жизни и творчества Пушкина в 1833 г.». Сборник заключают: краткая библиография и комментарии к иллюстрациям. Как указано в предисловии, «сборник имеет научно-популярный характер и не ставит перед собой исследовательских целей. Помещенные здесь статьи объединены одной общей установкой — дать читателю, не имеющему возможности углубляться в специальную литературу, ряд статей по основным вопросам, связанным с творчеством Пушкина данного периода». Этой научно-популярной установкой, к со-

<sup>1</sup> Стр. 67—71.

<sup>2</sup> Ср. «Литературное наследство» № 4—6, 1932 г. стр. 350—351; 370—371.

<sup>3</sup> Стр. 44—64.

жалению, не учли некоторые рецензенты, в том числе И. Сергиевский в заметке «Юбилейная наука»<sup>1</sup>.

В библиотеке «Огонька» (№ 36) вышла книжка В. Вересаева «Родственники Пушкина». Вересаев в живой, иногда почти беллетристической форме дает сводку известных уже в специальной литературе сведений о родителях Пушкина, его брате и сестре, дяде Василии Львовиче, а также о тетках поэта, приводя тут же стихи Пушкина, в которых упоминаются все эти родственники.

Совершенно особое место в пушкинской литературе 1933 года занимает брошюра В. К. Охочинского, если этот «труд» можно вообще упоминать в обзоре литературы по Пушкину. Брошюра претенциозно озаглавлена: «Истинный убийца Пушкина». Первоначально напечатанная в газете «Красная Вишера» от 12 февраля 1933 г., статья В. Охочинского была выпущена затем отдельным отиском в количестве 50 экземпляров. В этом издании — 11 страничек, в которых устанавливается роль Николая I в дуэли-убийстве Пушкина. Поведение Николая I в последние дни жизни Пушкина интересовало таких исследователей, как Щеголев, Боцяновский, Лернер и др. По этому вопросу собран кое-какой материал и высказаны ценные соображения. В наивной брошюре В. Охочинского нет ни одной ссылки на фактические материалы о дуэли и смерти Пушкина. Наш «исследователь» строит свои выводы на основании беллетристических произведений, пользуясь романом Л. П. Гроссмана «Записки Д'Аршиака», В. Каменского «Пушкин и Дантес» и др.

Из журнальных и газетных статей наибольший интерес представляют высказывания Д. Д. Благого в заметке «Реализм Пушкина»<sup>2</sup> и обстоятельное исследование Анны Ахматовой «Последняя сказка Пушкина»<sup>3</sup>. До сих пор в пушкинском источниковедении оставалось несколько существенных пробелов. Два из них окончательно восполнены в отчетном году. «Сказка о золотом петушке», как показала А. Ахматова, — это «Легенда об арабском звездочете» Вашингтона Ирвинга из его книги «Альгамбра», вышедшей в Париже в 1832 г. Ряд убедительных текстуальных сопоставлений только оттеняет самостоятельность пушкинской трактовки. Интересно указание на систему намеков памфлетного характера, адресатом которых является сам Николай I. Да и тема всей сказки — неисполнение царского слова.

Вторая источниковедческая находка еще не появилась в печати (выходит в очередном выпуске «Звеньев», о чем см. ниже): это — работа Д. Якубовича о «Марии Шонинг». Исследователем установлено, что источником для пушкинского замысла послужил опубликованный

<sup>1</sup> «Литературный критик» № 4, стр. 134—136.

<sup>2</sup> «Литературная газета» № 30.

<sup>3</sup> «Звезда» № 1, стр. 161—176.

в 1827 г. на французском языке в «*Causés célèbres étrangères*» в отделе «Детубийства» процесс Марии Шонинг и Анны Гарлин (Нюренберг 1787)<sup>1</sup>.

В журнале «Красная новь» (№ 7) напечатан отрывок из работы Л. Мышковской «Литературные проблемы пушкинской поры» под заглавием «Пушкин в 30-х годах». Статья посвящена одному из самых сложных и социально-значимых моментов в творческой судьбе Пушкина, привлечен большой материал, но выводы Л. Мышковской можно принять только с целым рядом оговорок. Вопросы, поставленные Л. Мышковской, настолько значительны, что не представляется возможным големизировать с ней в настоящей статье. Ведь речь идет о понимании и социально-историческом истолковании центральных произведений Пушкина, в том числе маленьких трагедий 1830 г.

В журнале «Звезда» (№ 12) помещена статья В. А. Мануйлова «Рабочий читатель и Пушкин», подводящая итоги статистических исследований и сообщающая результаты работы читательской бригады, организованной в 1930 г. при общей редакции сочинений Пушкина. Вместе с тем статья ставит ряд принципиальных вопросов о комментировании классиков, в частности Пушкина. Последней темы касается также упомянутая выше статья Ф. Бутенко, В. Гофмана и П. Соколова «Классические комментарии к классикам»<sup>2</sup>.

Интересные замечания об интерпретации пушкинских тем в работах Палехских мастеров находим в статье Вихрева «Пушкин и Горький в искусстве Палеха»<sup>3</sup>.

Любопытную попытку оживления формы критико-полемиической статьи сделал Ил. Фейнберг в своем остроумном диалоге «Памятник»<sup>4</sup>. Действуют: Ведущий, Памятник Пушкину, Вересаев, Сакулин и Гершензон. Диалог посвящен старому вопросу о толковании Пушкинского стихотворения «Памятник». По мнению автора, «Памятник» Пушкина не только противостоит «Памятнику» Державина, диаметрально противоположно ставя проблему «поэт и царь», но, враждебный царю, «Памятник» Пушкина дружески обращен к народу. «Исторически понять произведение можно, только поняв его в целом, в его конкретно-исторической обусловленности и рассматривая его как момент в движении литературного процесса» — таково основное утверждение Фейнберга, и с ним нельзя не согласиться.

В том же № 5 «Литературного критика» (стр. 162) дан первый опыт далеко не полной библиографии по Пушкину за 1932 и 1933 гг.

<sup>1</sup> Ср. статью «Мария Шонинг» в Путеводителе по Пушкину, М. 1931, стр. 230.

<sup>2</sup> «Литературный Ленинград» 1933 г., № 21.

<sup>3</sup> «Новый мир» № 9, стр. 234—243.

<sup>4</sup> «Литературный критик» № 5, стр. 85—97.



в работе И. Мадзуева «Художественная литература в оценке периодической печати».

Из книг, имеющих косвенное отношение к Пушкину, следует упомянуть «Арзамас и арзамасские протоколы» под ред. М. С. Боровковой-Майковой с предисловием Д. Д. Благого<sup>1</sup>. Ничего нового по Пушкину книга не сообщает, но для углубленного изучения литературного окружения молодого Пушкина Арзамасские протоколы дают богатый материал.

Нужно также упомянуть второе издание книги А. Г. Ядевича «Пушкинский Петербург» (вып. I-й, 160 стр.), выпущенное Об-вом «Старый Петербург — Новый Ленинград». Здесь даны обстоятельные сведения о домах, в которых жил Пушкин и его петербургские друзья. Несмотря на узко-специальную тему, книга написана живым языком и носит популярный характер.

Кроме академического издания Пушкина и пушкинской энциклопедии в 1933 году предприняты и начаты печатанием следующие крупные издания: третий том «Писем Пушкина» отредактирован Л. Модзалевским и сдан в печать издательством «Academia». Это издание было предпринято покойным Б. Л. Модзалевским, под редакцией которого были выпущены ЛенОГИЗ в 1926 и в 1928 гг. первые два тома. В третьем томе — 169 писем Пушкина за период с 1831 по 1833 г. В этом томе нет новых, неизвестных до сих пор писем, но многие письма являются впервые в исправленном и дополненном виде. Сверка текста по автографам произведена Н. В. Измайловым и Л. Б. Модзалевским. Следует отметить, что комментарий первых 44 писем был исполнен еще Б. Л. Модзалевским, а в составлении комментариев к письмам Пушкина к жене принимал участие М. А. Цявловский; в комментировании писем к И. В. Киреевскому принимала участие О. И. Попова.

«Academia» приступает к изданию полного собрания сочинений Пушкина под общей редакцией Л. Б. Каменева, Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского. Издание рассчитано на девять томов малого формата, на особой тонкой бумаге хорошего качества. В отличие от издания Академии Наук, предназначенного для специалистов, это издание ориентировано на широкие круги читателей. Каждый том будет снабжен небольшими статьями и краткими комментариями, в которых предполагается дать характеристику жизни и творчества Пушкина в освещении современного литературоведения.

К концу 1933 года закончено печатанием и в начале 1934 года выпущено в свет роскошное издание «Евгения Онегина» под ред. М. А. Цявловского и с рис. художника Н. В. Кузьмина. Издание осу-

<sup>1</sup> Изд-во писателей в Ленинграде. 304 стр.

ществлено «Academia». К сожалению, дорогая цена книги делает ее совершенно недоступной для широких читательских кругов<sup>1</sup>.

Тем же издательством «Academia» принята к печати книга «Рукою Пушкина» — несобранные и неопубликованные тексты. Работа осуществлена М. А. Цяловским, Л. Б. Модзалевским и Т. Г. Зенгер, при участии Д. П. Якубовича. Здесь собраны деловые документы Пушкина и всевозможные заметки его, не являющиеся художественными произведениями и поэтому не печатавшиеся ранее в собраниях его сочинений. Это — заметки на полях книг, поправки, сделанные в сочинениях других авторов, переводы, официальные и деловые (служебные) документы, мелкие автобиографические записи, разбросанные на творческих рукописях, дарительные надписи на книгах, надписи на книгах, лично принадлежавших Пушкину, записи в альбомах разных лиц, выписки из книг, журналов и газет, записи народных песен и сказок, копии стихотворений других авторов, векселя и т. п.

Точно также находится в производстве и скоро выйдет в свет специальный пушкинский том «Литературного наследства», снабженный по обыкновению множеством иллюстраций, портретов и снимков с рукописей. Кроме исследований, статей и публикаций, касающихся Пушкина и его эпохи, в номере будут даны подробные обзоры пушкиноведения за истекшее советское пятнадцатилетие (1918—1933).

В очередном третьем выпуске «Звеньев», выходящем в скором времени, специальный отдел будет посвящен Пушкину. В этот пушкинский отдел вошла следующие работы: П. Попов — «Новый архив Пушкина» (опись материалов, приобретенных в феврале 1933 г. у потомков поэта Центральным музеем литературы в Москве, с публикацией отдельных документов). Д. Якубович — «Мария Шонинг, как этап историко-социального романа Пушкина» (об этой работе см. выше); Л. Модзалевский — «Исчезнувшая рукопись Пушкина» (о «Пире во время чумы»); М. Боровкова-Майкова — «Нина Воронская» («Евгений Онегин»); В. Вересаев — «Нина Воронская»; М. Боровкова-Майкова — «Из писем П. А. Вяземского к жене от 1830 г.» (о Пушкине, Мицкевиче и др.); Е. Казанович — «К источникам «Египетских ночей»»; Леонард Реттель — «Александр Пушкин», Т. Зенгер — «Пушкин у Трубецких».

Из специальных докладов, посвященных Пушкину и прочитанных на открытых собраниях и заседаниях в 1933 году, необходимо отметить следующие: в день 96-й годовщины смерти поэта Пушкинское общество совместно с Пушкинской комиссией ИРЛИ Академии Наук организовало в помещении квартиры Пушкина траурное заседание, на котором были произнесены речи председателем Пуш-

<sup>1</sup> См. рецензию А. М. Эфроса в «Литературной газете», 1934 г., 6 апреля № 42 (358).

кинского общества акад. Н. С. Державиним и ученым секретарем Пушкинской комиссии Д. П. Якубовичем. Речь акад. Державина тогда же напечатана была в веч. вып. «Красной газеты» (10 февраля, № 34 [3312]) под заглавием «Трагедия Пушкина»; здесь кратко очерчена значимость поэзии Пушкина для нашего времени и сущность личной трагедии поэта. На заседаниях Пушкинской комиссии были также прочтены следующие доклады: А. А. Ахматова — «Об источнике «Сказки о золотом петушке» (см. выше), Л. Б. Модзалевский — «О рукописи «Пира во время чумы» (см. выше), Б. В. Томашевский — «О Капнистовской тетради Пушкина» (печатается в «Литературном наследстве»), Б. П. Городецкий — «К истории «Кавказского Пленника», на основании найденного им цензурного экземпляра поэмы<sup>1</sup>, Н. О. Лернер — «Из истории «Капитанской дочки», Б. П. Городецкий — «Проблема Пушкина в классовой борьбе 90-х — 900-х годов», Ю. Г. Оксман — «План «Капитанской дочки», Д. П. Якубович — «Из комментариев к «Анджело». На организованном 31 октября обществом «Старый Петербург-Новый Ленинград» вечере, посвященном 100-летию написания «Медного всадника», были прочтены доклады Д. Якубовича и А. Яцевича о «Медном всаднике» — поэме Пушкина и «Медном всаднике» Фальконета. В Пушкинском обществе на собрании 12 мая выступил М. А. Цявловский с докладом о вновь обнаруженных в Ульяновске пушкинских рукописях и материалах. Там же 17 октября состоялся доклад В. А. Мануйлова «Рабочий читатель и Пушкин» (см. выше).

Пушкинским обществом в помещении клуба Академии Наук СССР проведен цикл лекций — «Пушкинский семинарий»: Инн. Оксенов — «Пушкин в русской критике»; В. Мануйлов — «История изданий сочинений Пушкина»; Б. Томашевский — «Круг проблем пушкиноведения»; Д. Якубович — «Проза Пушкина» (2 лекции); В. Гиппиус — «Лирика Пушкина до 1825 г.». В ряду бесед, организованных архивом ИРЛИ для начинающих писателей, Ю. Оксман прочел лекцию: «Проблематика и техника исторического романа Пушкина» (тезисы см. в «Литературной учебе» за 1933 г.).

Следует отметить усилившийся интерес к Пушкину в нашем советском театре и на эстраде. Не ограничиваясь традиционным репертуаром на пушкинские тексты и сюжеты, Государственный театр оперы и балета им. А. В. Луначарского в Ленинграде уже принял к постановке новый балет «Бахчисарайский фонтан», муз. Б. В. Асафьева, либретто Волкова, постановщик Захаров.

В Московском театре Ленсовета готовится к постановке пьеса М. С. Гусса и К. А. Зубова «Пиковая дама» на тему пушкинской повести с привлечением материала «Повестей Белкина», дневника Пушкина, писем и отрывков из начатых повестей. Оживленное обсуждение

<sup>1</sup> Хранится ныне в ИРЛИ.

этой пьесы состоялось на одном из собраний Агит-худ. секции Пушкинского общества (13 декабря).

Такие мастера советской эстрады, как Владимир Яхонтов, Антон Шварц, Журавлев и др., дают целые литературные вечера на пушкинском материале. Интересно и социально глубоко вскрыт текст «Евгения Онегина» в композиции Яхонтова.

В художественной литературе образ Пушкина попрежнему привлекает внимание Ю. Н. Тынянова, начавшего биографический роман о нем, обещанный читателям «Литературного современника». Закончена повесть С. С. Емелина «Зеленая лампа» — о молодом Пушкине и его петербургских друзьях. За истекший год Пушкину посвящен целый ряд новых стихотворений, среди которых следует отметить безусловно значительное, но еще не напечатанное стихотворение Т. Казмичевой «Рассказ Державина» (Лицейский экзамен).

Таковы итоги 1933 года. Оживленная подготовка новых работ и изданий обещает в новом 1934 году значительно большие результаты. Да иначе и не может быть: рост и успехи советского пушкиноведения тесно связаны с литературной и научно-исследовательской жизнью всей нашей страны.

---

## ИЗ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1933 ГОДА О ПУШКИНЕ

1. Анкета и справочный материал «Пушкин и его современники» и «Предшественники Пушкина» — «The Bookman». Vol. LXXXII. London 1932. Стр. 264—268; 210—219. Об этом материале, а равно и об английских переводах *E. A. Osborne* классиков русской литературы см. «Revue d'études slaves». Tome treizième, f. 1 et 2. Paris. 1933, p. 139 (на франц. яз.)

2. *Бицилли, П.* [*Bicilli, P.*] Заметки о Пушкине. — «Slavia», Прага. Год 11 (1933) Вып. 3—4 (на чешск. яз.)

3. *Висковатая, И.* [*Viskovataja J.*]. Русские мотивы в творчестве Юл. Зейера. — Прага, 1932 (1933) «Slovanský ústav», 8<sup>o</sup>. 166 стр. (на чешск. яз.) (Есть материал о Пушкине.)

4. *Вяземская В. Ф.* [*Vjasemska V. F.*] Смертные часы Пушкина. — «Slovjanski Glas». София. Год 16 (1933), вып. 3—4 (на болгарском яз.)

5. *М. Горлин* [*M. Gorlin*]. С Гёте в России, ч. 2 — «Zeitschrift für slavische Philologie». В. X. Doppelheft 3—4, Leipzig. 1933. S. 310—334 (на нем. яз.) См. стр. 310—314 об изучении Пушкиным сочинений Гёте и об отражении у Пушкина мотивов Гёте.

6. «Der Weg nach Russland». Сжатая передача статей польского пушкиноведа, профессора истории русской литературы в Краковском университете *Вацлава Ледницкого* [*Wacław Lednicki*], опубликованных им в 1933 г. в варшавском журнале «Kultura», под названием «Droga do Rosji» и не появлявшихся отдельным изданием. В статье приводятся выдержки из книги автора о Пушкине, опубликованной в 1926 г. «Slavische Rundschau» Jg. 1933 (Verl. Deutsche Gesellschaft für slavische Forschung. Prag; Walter de Grayter & Co. Berlin und Leipzig). № 4. Sonderheft. Polen. S. 161—265. (на нем. яз.)

7. *В. Жирмунский* [*V. Žirmunskij*]. О П. Н. Сакулине как пушкиноведе. — «Revue d'études slaves». Tome treizième. Paris, 1933, p. 188 (на франц. яз.)

8. *Н. Кашин* [*N. Kašin*]. Рецензия на русское издание сборника «Творческая история». Исследования по русской литературе. Пушкин и др. Под ред. *Н. Пиксанова*. Москва. Никитинские субботники. 1927 8<sup>o</sup> 248 стр. Дается общая критическая оценка сборника и в частности статей: *В. Стефанович* — Из истории «Кавказского пленника» и *Г. Фрид*, История романа Пушкина о бедном рыцаре. — «Zeitschrift

für slavische Philologie». Hrsg. v. Max Vasmer. B. X. Doppelheft 1—2 Leipzig, Harrasovitz. 1933. S. 242—244 (на нем. яз.)

9. А. Мазон [*André Mazon*]. Краткий отзыв о статье А. Л. Бема, помещенной в издании «Русский народный университет в Праге». Научные труды. IV. 1931. Стр. 150—174, о влиянии «Пиковой Дамы» Пушкина на произведения Достоевского. — «Revue d'études slaves», Tome treizième, F. 1 et 2, Paris, 1933, p. 130 (на франц. яз.).

---

## К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ.

1. Пугачев — с гравюры, приложенной Пушкиным к изданию «Истории Пугачевского бунта» 1834 года.

2. Пушкин — с портрета масляными красками работы Карла Петера Мазера 30-х годов. (Бахрушинский Театральный Музей в Москве). Точная дата и обстоятельства написания портрета шведским художником не выяснены. Пушкин изображен одетым в домашний халат, очевидно, тот самый „архалук, красный с зелеными кисточками“, в котором по рассказам Н. Н. Пушкиной «он был в день его несчастной дуэли». В левой руке Пушкин держит карандаш. На указательном пальце — кольцо «талисман». Правая рука — на локотнике дивана. Перед Пушкиным, видимо, одна из его рабочих тетрадей; на століке бумаги и безделушки.

3. Мицкевич — с гравюры Крутэлла в Парижском издании «Стихотворений Адама Мицкевича» 1828 г. (по экземпляру Е. А. Цакни).

4. «Он между нами жил» — автограф Пушкина (Пушкинский Дом Академии Наук СССР) воспроизводится впервые.

5. Карандашный автограф Пушкина на экземпляре книги А. Ф. Вельтмана — «Песнь ополчению Игоря Святославича, князя Новгород Северского». 1833 г., стр. 2 (Пушкинский Дом Академии Наук СССР), воспроизводится впервые.

6. Н. Н. Гончарова — с акварели Карла Брюллова (Пушкинский Дом Академии Наук СССР).

7. Французский автограф Пушкина в альбом выступавшего в 1834 г. в Петербурге чревоуещателя А. А. Ваттемара (клише предоставлено Н. О. Лернером).

Перевод: Имя вам легион, так как вы — множество. 16 июня ст. ст. 1834. С.-Петербург.

---

## СОДЕРЖАНИЕ.

	Стр.
Предисловие . . . . .	5
Н. Лернер. Песенный элемент в «Истории Пугачевского бунта» . . . . .	6
Д. Якубович. «Дневник» Пушкина . . . . .	20
Инн. Оксенов. «Кирджали» . . . . .	50
М. А. Цявловский. «Он между нами жил» (по поводу статьи В. Ледницкого) . . . . .	65
Н. Лернер. Из истории занятий Пушкина «Словом о полку Игореве» . . . . .	93
Евг. Давыдов. Письма и замыслы . . . . .	110
Д. Я. — Послужной список Пушкина 1834 года . . . . .	141
Л. Модзалевский. Главнейшие хронологические даты жизни и творчества Пушкина в 1834 г. . . . .	145
В. Мануйлов и Л. Модзалевский. Хроника пушкиноведения за 1933 год. . . . .	152
М. Куфаев. Из иностранной литературы 1933 г. о Пушкине. К иллюстрациям . . . . .	169
	171



<sup>всё время как и прежде</sup>  
<sup>и мануальных</sup>  
 Говорю ~~мне~~ <sup>всё время</sup> ~~как и прежде~~, но ~~не~~  
 Надяет ~~мне~~ <sup>всё время</sup> ~~не~~ ~~как~~ ~~и~~ ~~прежде~~, а ~~то~~  
 Со ~~мне~~ <sup>всё время</sup> ~~не~~ ~~как~~ ~~и~~ ~~прежде~~  
 Так ~~мне~~ <sup>всё время</sup> ~~не~~ ~~как~~ ~~и~~ ~~прежде~~. ~~То~~ ~~как~~  
~~Мне~~ <sup>всё время</sup> ~~не~~ ~~как~~ ~~и~~ ~~прежде~~  
 И ~~мне~~ <sup>всё время</sup> ~~не~~ ~~как~~ ~~и~~ ~~прежде~~  
 И ~~мне~~ <sup>всё время</sup> ~~не~~ ~~как~~ ~~и~~ ~~прежде~~  
 То ~~мне~~ <sup>всё время</sup> ~~не~~ ~~как~~ ~~и~~ ~~прежде~~  
 Котора ~~мне~~ <sup>всё время</sup> ~~не~~ ~~как~~ ~~и~~ ~~прежде~~  
 Не ~~мне~~ <sup>всё время</sup> ~~не~~ ~~как~~ ~~и~~ ~~прежде~~  
 И ~~мне~~ <sup>всё время</sup> ~~не~~ ~~как~~ ~~и~~ ~~прежде~~  
 Знаю ~~мне~~ <sup>всё время</sup> ~~не~~ ~~как~~ ~~и~~ ~~прежде~~  
 И ~~мне~~ <sup>всё время</sup> ~~не~~ ~~как~~ ~~и~~ ~~прежде~~  
 Как ~~мне~~ <sup>всё время</sup> ~~не~~ ~~как~~ ~~и~~ ~~прежде~~  
~~Мне~~ <sup>всё время</sup> ~~не~~ ~~как~~ ~~и~~ ~~прежде~~  
 Знаю ~~мне~~ <sup>всё время</sup> ~~не~~ ~~как~~ ~~и~~ ~~прежде~~  
 И ~~мне~~ <sup>всё время</sup> ~~не~~ ~~как~~ ~~и~~ ~~прежде~~

Ludwig

Gedacht, wenn ich  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...

10. Abr.  
 1854  
 (125)

...  
 ...  
 ...